

«МОЯ КНИГА»

- Книги для детей и взрослых
- Канцелярия в ассортименте
- Подарочные издания, сувениры
- Краеведение, ретрооткрытки
- Наборы для детского творчества
- Развивающие игры.

Мы ждём вас по адресу:
ул. Советская, д. 11,
тел. 8-900-495-79-35

Друзья!

Торговое предприятие «Моя книга» — сегодня единственное в нашем регионе, которое реализует не только книги местных авторов, но и живописные работы как начинающих, так и маститых художников. Кроме того, книжный магазин поддерживает по-своему уникальное издание «Рассказ-газету», которую можно приобрести только здесь, причём совершенно бесплатно. Газета рассчитана на широкий круг читателей, но при этом она развивает художественный вкус, знакомит с новыми произведениями писателей, краеведов, культурологов, чьё творчество так или иначе связано с Тамбовщиной.



№ 18 2021 г.

Издаётся с 1991 года

РАССКАЗ- газета



Проект торгового предприятия «МОЯ КНИГА»

Приложение к «Рассказ-газете»

«Я здесь живу чужим страданием»

ГАЛИНА АБРАМОВА.

Жизнь и творческое наследие В. П. Белостоцкого (литературный псевдоним Владимир Ветвицкий) до последнего времени оставались неизвестными и непрочитанными, рукописи его стихов, рисунки, документы, фотографии, театральные альбомы не были востребованы. Изучение архива поэта, исследование неопубликованных текстов и рукописей, хранящихся в фондах Тамбовского областного краеведческого музея, привели к ряду интересных открытий. В. П. Белостоцкий — потомок древнего шотландского рода, правнук Е. П. Бакуниной (в замужестве Полторацкой), лицейской любви А. С. Пушкина, родственник фабрикантов и предпринимателей Асеевых и Крюченковых.

Творчество В. П. Белостоцкого — это его «открытое сердце», свидетельство времени, отражение событий его непростой судьбы. Жизнь поэта раскололась на две части — до и после октября 1917 года. Он стал свидетелем гибели рассказовской усадьбы Полторацких-Бакуниных, был вынужден скрывать своё происхождение, в новых классовых реалиях остался невостребованным как творческая личность. Увиденное и пережитое дало Владимиру Белостоцкому право сказать о себе — «я здесь живу чужим страданием».

Владимир Петрович Белостоцкий (Ветвицкий) родился 17 августа 1879 года, предположительно в селе Рассказово Тамбовской губернии. Он происходил из замечательного рода Полторацких-Бакуниных.

Мама поэта Юлия Александровна Полторацкая росла и воспитывалась в рассказовской усадьбе Полторацких, получила домашнее образование. В 1878 году вышла замуж за юрисконсульта ЮВЖД Петра Белостоцкого. У них родился сын Владимир. Предположительно супруги вскоре расстались. Есть

и другая версия — по имеющимся косвенным данным, Пётр Белостоцкий рано ушёл из жизни. Это ещё предстоит выяснить.

Юлия Александровна Белостоцкая (урождённая Полторацкая) вторым браком вышла замуж за крупного тамбовского землевладельца и предпринимателя, общественного деятеля, филантропа Ивана Константиновича Крюченкова. Последний в 1890 году, после смерти родного брата Памфила Константиновича, стал опекуном его малолетней дочери и своей племянницы Анисьи. Пасынок И. К. Крюченкова Владимир Белостоцкий и племянница Анисья Памфиловна были приблизи-



тельно одного возраста и воспитывались вместе. Анисья впоследствии стала женой фабриканта Василия Тихоновича Асеева.

Владимир Белостоцкий получил домашнее образование. Любовь к литературе привила бабушка Юлия Александровна Полторацкая (урожд. Чихачева), которая с раннего возраста читала ему произведения великих русских писателей и поэтов Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Он увлекался естественными науками и мечтал поступить на медицинский факультет Санкт-Петербургского университета. Однако жизнь сложилась иначе. Согласно документу из архива В. Белостоцкого,

так называемому Трудовому списку, он получил домашнее образование — прошёл курс VIII классов по программе реального училища, в 1898 году окончил курсы бухгалтерии Ф. В. Езерского в Санкт-Петербурге в объёме знаний коммерческих институтов. В графе «профессия» значится «бухгалтер, инспектирование, конт-роль и ревизия счетоводства и отчётности, инструктирование и рационализация в этой области. Преподавание». Впоследствии, в 1928 году, в письме к М. Горькому В. Белостоцкий писал: «Служил я с 19 лет по бухгалтерии, которую глубоко ненавижу. Ибо изучал её, проклятую, по воле отчима — купца, не хотевшего, чтобы я кончил медицинский факультет. Служил у него до 1916 года, когда он умер, оставив всё состояние на благотворительные цели». В Трудовом списке Владимира Петровича значится «...с 1898 г. служил в должности главного бухгалтера и главного контролёра в главной конторе Анисьевского № 21 винокурного ректификационного завода, пароводяной мельницы, лесного и с/х имений И. К. Крюченкова».

Таким образом, Владимир Белостоцкий работал на заводе отчима Ивана Константиновича Крюченкова. Его жизнь в Рассказове и Тамбове проходила как бы в двух кругах общения. Первый — это любимые Полторацкие, о которых он пишет с нежностью и любовью, второй — Крюченковы и Асеевы. Он очень дорожил и гордился своими славными предками Полторацкими-Бакуниными. Для юного Владимира второй брак матери, то, что Юлия Александровна связала свою жизнь с купеческим сословием, было своего рода предательством. С юных лет он был подвержен тяжёлым депрессиям, нервным расстройствам, лечился в Москве в клинике доктора Майкова, в Швейцарии, в Уфимской губернии, затем, в конце 1920-х годов, в психиатрической больнице в Тамбове.

«Я здесь живу чужим

1

В. Белостокский увлекался живописью, литературой, философией. Знал английский, французский итальянский языки, переводил О. Уайльда. Он много путешествовал — Швейцария, Италия, Санкт-Петербург, Москва, Киев, Сухуми, Кисловодск, Ключевка Уфимской губернии, при этом делал талантливые карандашные и акварельные зарисовки, этюды.

Особой его страстью был театр. Сохранились два альбома Владимира Белостокского со знаменитой эмблемой МХАТа. В них — собранные владельцем более трёхсот почтовых карточек 1904—1905 годов со сценами из любимых мхатовских спектаклей «Дядя Ваня», «Иванов» А. П. Чехова, «Мещане» М. Горького, «Одинокие» Г. Гауптмана, «Власть Тьмы» Л. Толстого. На многих карточках рукой В. Белостокского написаны отрывки из монологов любимых героев в исполнении любимых актёров. «Я знаю поэзию бессонных ночей, я знаю, что такое вдохновение» — такой автограф оставил Владимир Петрович на открытке со сценой из спектакля «Иванов» в исполнении В. И. Качалова.

Первые творческие шаги Владимира Белостокского датируются концом XIX — началом XX веков, тогда же, по свидетельству самого поэта, с 1899 года, он начал печататься под псевдонимом Владимир Ветвицкий в журналах «Русское слово», «Вестник Европы», «Современный мир» и других. В 1897—1899 гг. он создаёт цикл стихотворений «Первые песни», в 1900—1903 гг. — цикл «Сумерки». Примечательно, что несколько ранних произведений написаны в селе Рассказово и, как помечает сам поэт в рукописях, именно на заводе Крюченкова. В них звучат мотивы душевных переживаний:

«Эти песни, эти строки —
Только беглые намёки,
Отголоски прежних грёз,
Эти бледные страницы —
Только робкие зарницы
Пережитых сердцем гроз».

Стихи наполнены тоской, смятением, разочарованием, поэт пишет о тернистом пути и поисках святой истины, о пошлости людской и неправде жизни, о смысле жизни и поиске своего назначения:

«Он от толпы уйдёт, изгнанник,
Надев терновый свой венец,
Он для людей —
Бездомный странник,
Для Бога — избранный певец».

В 1908 году В. Белостокский женился на Л. В. Михайловой, уроженке г. Липецка. В краткой биографии поэта, написанной сыном Николаем уже в конце 1950-х годов, скромно указано, что Лионелла Васильевна окончила женские курсы и работала библиотекарем в с. Рассказово. Ей, своей Музе, поэт посвятил неопубликованные циклы стихов «На заре» (1906—1907 гг.), «Разбитое» (1907—1908 гг.):

«Я так люблю тебя,
что угадать мне трудно,
Где начинаюсь «я»,
где грань родного «ты».

Как было уже отмечено, отношения Владимира Белостокского с матерью Юлией Александровной и отчимом И. К. Крюченковым были болезненно-сложными, напряжёнными. Отдохновение он находил в «старом доме», как он сам его называл, — доме Полторацких. Ему посвящены стихотворные циклы «Старинное», «Забытые усадьбы». Для поэта в каждодневном, казалось, обыденном, но счастливом и безмятежном течении жизни всё значимо. Порой именно мелочи, внимательно и точно подмеченные детали и образы, оттенки и полутона настроения важны и дороги автору. Он и его лирический герой живут повседневностью, принимают её как самоценность, тонко подмечают ускользающую красоту и тем самым в поэтических образах усадебной лирики возвращают нам безвозвратно утраченный мир. Уникальность каждого мгновения жизни, ценность и достоинство самого бытия, дорогие имена и судьбы, искренность чувств — всё это отражено в творчестве В. Ветвицкого.

Стихи В. Ветвицкого — это история его жизни и история рассказовской усадьбы Полторацких. Милое детство — тихая улыбка няни: «няня моя старая, няня моя милая — в детстве нянины лампы, колокольный утроем звон». Катание на качелях, игры в крокет. Воспоминания об отце — «как хорошо с тобой в стране воспоминаний забыться мне душой». Трогательные детали — «блестит твоё пенсне, шуршит твоя газета». Тоска по матери — «и мать моя глядит с старинного портрета», её рояль, забытая на нём перчатка — «Молчит рояль — Все песни спеты. Не тронет клавиш вновь никто».

Неопубликованные стихи В. Белостокского (Ветвицкого) бесценны. Они — поэтическое повествование об ушедшей эгегической прелести старой барской усадьбы:



Рисунок В. Ветвицкого.

«В тихом сумраке
старого сада,
Где сирень, облетая, цветёт,
Потемневшая дремлет ограда
И калитка раскрытая ждёт».

Ещё можно выйти на засыпанный цветом жасмина балкон, смотреть на дивный вид — «речки дремлющей извивы, скошенные нивы», пройти по анфиладам комнат, увидеть, как «лунный свет дробится на зеркале паркета», услышать звон старинных часов, полюбоваться на «гравюры тёмные... картины... оружие дедов и отцов», услышать «печальный звон с высокой колокольни» и поклониться дорогим могилам.

«Наш старый дом, старик усталый» — к дому Полторацких поэт испытывал особую нежность:

«Люблю я старый дом,
когда весной раскрыты
Большие окна в нём
и двери на балкон.
И сумрак за окном,
и дремлет сад забытый,
И плачет за рекой вечерний,
грустный звон.

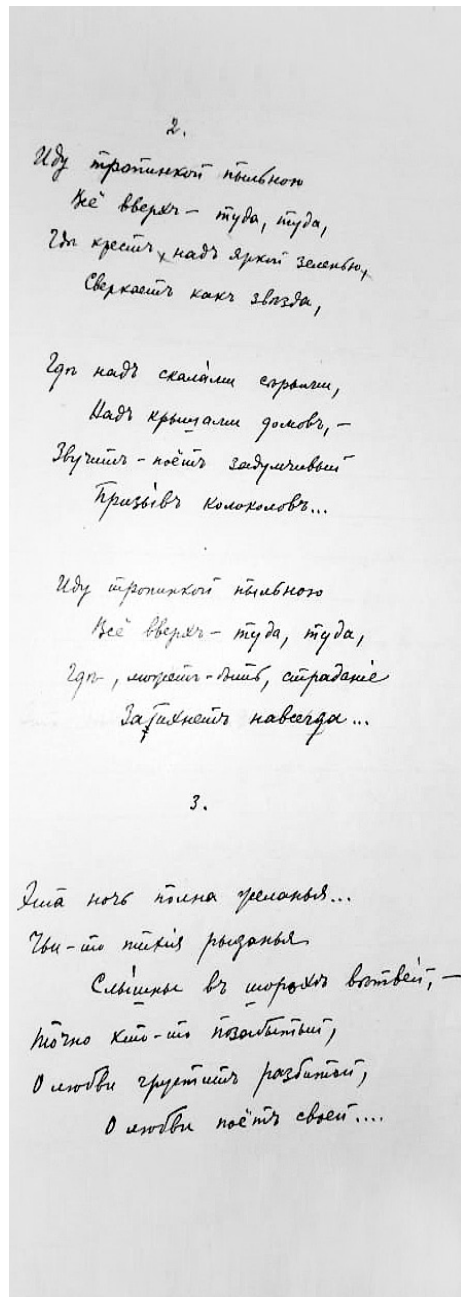
Люблю я старый дом,
где тёмные гравюры
Глядят с уснувших стен
и шепчут о былом,
Где в рамках золотых наивные амуры
Забылись в тишине
беспечным детским сном.
Люблю я старый дом,
где встречи наши редки
Где сказки шепчет нам
седая старина,
Где сумрачно глядят
на юность нашу предки,
Где теплятся мечты
и дремлет тишина».

В 1903 году Полторацкие построили новый дом. Деревянный, в два этажа, он располагался рядом со старой летней резиденцией, возведённой ещё при А. М. Полторацком на правом берегу речки Лесной Тамбов.

В 1915 году В. Белостокский (Ветвицкий) издал свой единственный сборник стихов в пользу жертв войны, направив весь доход от продажи тиража на нужды пострадавших от войны.

События 1917 года трагически изменили жизнь Владимира Белостокского, его родственников Полторацких,

страданьем»



Рукопись В. Ветвицкого.

Крюченковых, Асеевых. В 1918 году поэт запечатлел гибель усадьбы Полторацких:

«Дни сумрачны, бледны,
морозит с утра...
Туман... облетают осины...
Из старого дома
куда-то вчера
Рояль увезли и картины...
Сквозь хмурые окна
не видно огня,
Всё умерло. Всё отлетело...
Так шепчутся листья
под ласкою дня
Печально, несмело...»

В 1919 году у Белостоцких родился долгожданный сын Николка, которому поэт посвятил много нежных, трогательных поэтических строк, несколько неопубликованных стихотворных циклов.

В 1922 году из-за болезни трехлетнего сына он вынужден был расстаться с фамильной реликвией — акварельным портретом своей прабабушки Екатерины Павловны Бакуниной кисти Александра Брюл-

лова, который был продан музейному эмиссару А. Лебеву. Ныне портрет хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Этот период стал для поэта временем тяжелых переживаний и горьких раздумий, которые, безусловно, отразились в его творчестве:

«Я вижу каждый день
безмерное страданье,
Я вижу боль и кровь.
Я вижу каждый день
безмерное страданье —
Безмерную любовь.
Я вижу — каждый день! —
страдания так много,
Но призрачно оно!
За болью — снова жизнь!
И — светлый образ Бога
Глядит в моё окно...»

В 1919–1924 годах В. П. Белостоцкий служил зам. главного бухгалтера на Тулиновской суконной фабрике «Пролетарий», «куда ходил пешком 15 км по узкоколейке в течение 2-х лет», одновременно преподавал с/х — счетоводство на агрономическом факультете в Тамбовском государственном университете. С мая 1924 года работал старшим инспектором Управления госдоходами Губфинотдела. Затем до 1931 работал инспектором в Воронежской, Тамбовской, Козловской Рабоче-Крестьянской инспекции. Последняя его должность — главный бухгалтер завода Тамбовского вагоностроительного завода (ТВСЗ), откуда он был уволен по состоянию здоровья. Все эти годы Белостоцкий сотрудничал с газетами «Тамбовская правда» и «Тамбовский крестьянин». Безуспешно пытался публиковаться в крупных журналах. Но тематика его творчества была признана несвоевременной и незлободневной.

В 1928 году в письме М. Горькому В. П. Белостоцкий писал: «Жаль умереть, не мелькнув на страницах «Нового мира», жаль умереть, не издавшись. Моя скромная литературная тропинка всегда шла в стороне от большой дороги, а теперь совсем заглохла. Хотел бы и по потребности моей души отражать в стихах только то, что оставило в ней след».

Ушла в небытие милая, скромная усадьба Полторацких-Бакуниных. Всё, чем так дорожил В. П. Белостоцкий, что более ста лет собиралось и бережно хранилось его предками — портреты и книги, мебель и фарфор, семейные реликвии и архив, «свидетельства отлетевших, догоревших дней» — было хладнокровно расхищено и исчезло бесследно. Лишь

малая часть, сохранённая последними обитателями усадьбы, оказалась расплывлённой по провинциальным и столичным музеям. «Всё умерло давно, все песни спеты...», — писал Владимир Петрович Белостоцкий. Его не стало в 1933 году. По официальной версии он умер в Тамбовской губернской больнице от сыпного тифа. По неофициальным свидетельствам — свёл счёты с жизнью...

В. П. Белостоцкий (Ветвицкий) был похоронен на Успенском кладбище г. Тамбова, уничтоженном в 1930–1950 гг. Лионелла Михайловна Белостоцкая после 1917 года была домохозяйкой. С 1932 года до получения пенсии работала политпросвет работницей в Тамбовской библиотеке им. А. С. Пушкина. Умерла 6 сентября 1958 года. Сына Белостоцких Николку в 1937 году исключили из Тамбовского механического техникума за сокрытие дворянского происхождения. Он был вынужден изменить фамилию — всю сознательную жизнь носил фамилию Антонов. Работал на заводе им. Кагановича в Тамбове. Участвовал в Великой Отечественной войне. Сохранилось несколько его писем с фронта маме Л. В. Белостоцкой на адрес: ул. Тельмана (Солдатская), 8. Был женат на Анастасии Никитичне Голова. В конце 1950-х годов Николай Антонов (Белостоцкий) предпринимал безуспешные попытки опубликовать стихи отца. Обращался в редакции литературных журналов «Октябрь», «Литературное наследие», Воронежское издательство художественной литературы. В ответах признавали, что В. Белостоцкий (Ветвицкий) «был несомненно одарённым человеком». В 1958 году член редколлегии журнала «Октябрь» Г. Горностаев писал сыну поэта Николаю Антонову (Белостоцкому): «Признавая талант Вл. Ветвицкого, мы в то же время не видим возможности опубликовать в журнале его стихи, так как всё это дореволюционная тематика, а редколлегию интересует тема современная, злободневная. Рукопись возвращаем». Н. В. Антонов (Белостоцкий) большую часть архива отца передал в Тамбовский областной краеведческий музей. Небольшая часть неопубликованного литературного наследия В. Белостоцкого (Ветвицкого) хранится в РГАЛИ, а также в частной коллекции Сергея Денисова.

Сын поэта Николай Владимирович Антонов (Белостоцкий) умер в 1982 году. О судьбе его единственной дочери, внука и двух внучек ничего не известно.

ИГОРЬ ЛАВЛЕНЦЕВ
(1963—2005)

Ни тоску не лечат,
Ни тревогу
Эти вопли галок и ворон.
Оседают солнце понемногу
В сучьях стелых липовых корон.

В области закатного предела
Пламенеет небо декабря.
Ни души,
Ни разума,
Ни тела
Не согреет зимняя заря.

Не расцветит прожитую долю
Алая закатная гряда.
Улетает вдаль по белу полю
Птичий крик
На версты,
На года.

Чёрных крыл неслучайные тщи,
Солнца обезноженного шар,
Липы на завьюженном кладбище
Да пожар,
Негаснущий пожар...

Не пометить вымученным словом
Этот мир
Не дальний,
Не чужой.
Бьются галки в полуме багровом
Над кривой кладбищенской межой.

Стынет гомон,
Колется,
Дробится.
Мечется шальное воронье.
Полно,
Обезумевшие птицы,
Славить одиночество моё.

БЕССОННИЦА

С веток — яблоки,
С белых цветов — лепестки,
С неба — звёзды,
Из сердца — пустые тревоги.
Нам пора,
Из-под пыли мятежной тоски
Разбегаются прочь
две обочных дороги.

Всё случилось до срока,
Чему наперёд
Суждено и предписано
Было случиться:
Скрылся в сумрачном облаке
Твой самолёт,
Прокричала в полночи
Дикая птица.

Скоро утро развевает над заводью пар,
Словно память,
И я позабуду навеки
Губ прохладных твоих
Опьяняющий жар,
Эти руки твои —
Эти белые реки.

Я забуду
Шафрановый запах волос,
Я забуду твой взгляд,
Настигавший повсюду,
Под успешное пенье тоскующих ос
Я твой голос,
Дыханье твоё позабуду.

В третий раз прогоняет
Бессонный петух
Мелких бесов измен,
Горьких духов разлуки,
Только твой
Неуёмный безжалостный дух
Все кладёт мне на грудь
Невесомые руки.

Сгинь!
Но губы...
Но глаз полусвет-полумрак...
Прочь изыди!
Но век золотых гильотина...
Расточись!
Но дыханье, похожее так
На последний полёт
Лепестка георгина...

ЕЛЕНА БОРОДА

Рассказы для детей и взрослых

Друзья

— Привет! Приве-е-ет!

Серёжка бежал вдоль берега и махал руками, как мельница. Не удержался и со всего маху грохнулся на гальку.

Мама ахнула и дёрнулась было помочь. Но Серёжка уже вскочил и подбежал к Димке, улыбаясь во весь рот.

— Я так и знал, что тебя увижу! А вон мой папа идёт! — он обернулся и указал на папу, который не спеша брёл по пляжу.

Серёжкиного папу звали Павел. Выглядел он необычно. В одном ухе целых три кольца, а на голове — интересная шапочка с какими-то рисунками. Павел сказал, что это иероглифы.

Он долго купался в море, плавая у самого берега. Димка с удовольствием отметил, что его собственный папа и даже мама плавают гораздо дальше, к самым буйкам.

Но Павел несколько не переживал, что не может доплыть до буйков. Накупавшись, он уселся на камушки, достал баночки с чёрной и белой краской и принялся рисовать иероглифы на плоских галечных пластинках.

Очень затейливо у него выходило! Димке хотелось получить хоть один такой камушек. Но попросить он не решался.

Димка наблюдал за дядей Павлом, а Серёжка смотрел в другую сторону.

— Видишь, вон там девчонка с оранжевым кругом?

Он толкнул Димку локтем, кивая на девочку.

— Ну.

— Она вчера краба поймала. Надо спросить, где.

— Краба? Она? — не поверил Димка.

— Вот такого! — подтвердил Серёжка. — Точно, она! Я её по ушам узнал.

Уши у девчонки были самые обыкновенные. Но Серёжка говорил про надувные уши. Оранжевые, под цвет круга, они закреплялись на чём-то вроде ободка и задорно торчали на макушке наподобие кошачьих.

— Спросить бы, — вздохнул Серёжка.

— Так иди и спроси!

— Пойдём вместе.

— Мне неинтересно. Я и так знаю, где крабы ловятся.

— Где?

— Вон у тех камней. Я сто раз нырял. Там и крабы, и рачки разные. Даже рыба-игла встречается.

Пока они спорили, с девочкой подружился Рома. Видимо, тоже похвалил её уши, потому что девчонка улыбнулась, поправила их. А потом принялась строить из себя старшую сестру: взяла его за руку, стала что-то говорить. Кончилось это тем, что оранжевые уши оказались на голове у Ромы.

Он пришёл хвалиться ушами, а задорно привёл новую знакомую в «мастерскую» дяди Павла. Девчонку звали Вероника.



— Здравствуйте! — вежливо поздоровалась она с Серёжкиным папой. — Привет! — кивнула мальчишкам. — А можно попробовать? — это опять к дяде Павлу.

Дядя Павел кивнул. Посмотрел на Димку:

— Тоже хочешь?

Димка пожал плечами.

— Рисуйте вместе.

И дядя Павел отправился купаться, оставив ребятам кисточки и баночки с лаком и красками.

Вероника быстро и сосредоточенно выводила узоры на галечных камнях, которые выбирала не глядя. Димка что-то не решался взяться за кисточку. А Серёжку всё это мало интересовало. Он приступил к Веронике:

— Скажи, а где ты краба поймала?

— Там, — она небрежно махнула кисточкой в сторону прибрежных скал.

— Там не только крабы. Ракушки ещё, рачки всякие.

— Рыба-игла, — подхватил Серёжка, посмотрев на Димку.

— Рыба-игла? — Вероника на секунду вскинула голову. — Нет. Иглу не видела. Да это вообще не я краба поймала.

— А кто?

— Дядя мой. Я его потом отпустила.

— Дядю?

— Краба!

Серёжка разочарованно засопел. Потом вытянул шею и посмотрел на Вероникины художества.

— Ты неправильно срисовываешь, — заметил он.

— Зато красиво, — возразила Вероника.

— А это что такое? — не унимался Серёжка.

— Цветочек.

— А надо — иероглиф!

— У меня и есть иероглиф. Иероглиф-цветочек.

— Таково не бывает!

— Бывает.

— Сейчас папа придёт и скажет, что не бывает!

— Неправду скажет твой папа!

— Он никогда не говорит неправды! Он вообще вегетарианец!

— Вегетарианец — это тот, кто всегда говорит только правду? — заинтересовавшись, вмешался Димка.

— Нет. Вегетарианец — это тот, кто не ест мяса, — пояснил Серёжка.

— Сам нарисуй попробуй! — подзадорила Вероника.

— Ха!

Серёжка сгрёб все кисточки и принялся старательно копировать загогулины с отцовской шапочки.

Димке кисточек не досталось. Да он уже и расхотел рисовать. Просто вертел свой камушек между пальцами, всё любовался и любовался его тонкими разводами.

Когда дядя Павел вернулся, Серёжка с Вероникой чуть не повалили его — так спешили похвастаться своими иероглифами на камнях. Дядя Павел поднял вверх руки: хватит, мол, сдаюсь. Подошёл к Димке.

— А ты чего?

— Я просто лаком покрыл, — нехотя отозвался Димка. — Там козерог потому что. И лев. И русалка ещё. Под краской видно не будет.

Дядя Павел хмыкнул и взял в руки Димкин булыжник. Долго вглядывался в естественный рисунок. Потом с интересом посмотрел на Димку.

— Ну да, — сказал он.

И Димке показалось, что его камень без иероглифа понравился Серёжкиному папе-вегетарианцу больше всех.

О чём спорят папы

— Ну, например, двадцаточку на перекладине он влёгкую делает, — сказал Димкин папа.

Речь шла о Димке. Папа и дядя Павел сидели на остывающих камушках и

говорили о сыновьях. Точнее, сыновьями хвастались.

— А твой сколько выжимает?

— Не знаю, не считал, — неохотно отвечал дядя Павел.

— Эх, жаль, рядом турника нет, — сокрушался Димкин папа. — Он бы показал.

Дядя Павел молчал. Он, похоже, не очень жалел, что поблизости нет турника.

— А отжимается он вообще больше всех в классе, — не унимался папа.

— О, отжимается! — оживился дядя Павел. — Серёга тоже отжимается неплохо. Раз пятьдесят точно за раз выдаст!

— Да? Прямо пятьдесят?

Дядя Павел пожал плечами и позвал:

— Серёжка!

— Ну па-ап!

Димка с Серёжкой сидели неподалёку и пытались выманить из раковины рачка-отшельника. У них почти получалось, но в последний момент чуткий рачок прятался.

— Мы заняты! — пытался возразить Серёжка.

— Ничего, разомнётесь! — не желали слушать папы. — Покажите, на что вы способны.

Серёжка с Димкой приняли «упор лёжа» и принялись отжиматься. Отжавшись сорок раз, они переглянулись и одновременно встали.

Но пап ничья не устроила.

— Диман легко сидит в прямом шпагате, — сообщил папа. — И стойку на руках делает.

— Пф, стойка! — фыркнул Серёжкин папа. — Ты маюрасану видел? Сергей! — крикнул он.

Серёжка цокнул языком.

— Изобрази павлина!

Серёжка зарычал, но изобразил. Встал на руки и вытянул ноги параллельно земле. Вроде как они должны изображать хвост, готовый распусться. На павлина это походило очень от-

далённо, но да, поза требовала мастерства.

Дядя Павел воодушевился успехом сына.

— А ещё мы осваиваем дыхательную гимнастику. Сергей может задерживать дыхание на полторы минуты!

— Мой без всякой дыхательной гимнастики две минуты под водой продержится! — заявил Димкин папа.

Димка насторожился. Две минуты? Додумать не успел, над пляжем снова раздалось:

— Дмитрий!

— Сергей!

Мальчишки нырнули в воду на раз-два-три. Вынырнули одновременно. Неизвестно, сколько времени они не дышали, но отшельнику хватило, чтобы убежать.

Димкин папа прищурился:

— А ты видел, как мы вдоль пляжа плавали? От буя до буя?

Дядя Павел сник. Плавание — его слабое место. Он и сам плавал не очень, и Серёжка еле-еле держался на воде.

— Пап! — вдруг сказал Серёжка. — А помнишь, как ты за день на велосипеде пятьдесят километров проехал?

— Было дело, — улыбнулся дядя Павел.

— Пятьдесят? Да я в детстве и больше наматывал, — заметил Димкин папа.

— Так то в детстве!

— А в армии мы с полной боевой выкладкой, в жару и в мороз, по двадцать километров бегали!

— Я в армии не служил, — заметил дядя Павел. — Я пацифист.

Димка толкнул Серёжку локтем:

— Кто такой пацифист?

Серёжка пожал плечами:

— Не знаю. Наверное, тот, кто не служит в армии. Слушай, пойдём-ка от них подальше.

Они уселись у самой кромки моря и стали высматривать нового отшельника. Димка краем глаза наблюдал, как папы продолжают увлечённо спорить. Они там уже широко разводили руками, показывая то ли большую пойманную рыбу, то ли ещё что-то большое.

Нового рачка они с Серёжкой так и не поймали. Наверное, тот, который убежал, предупредил остальных.

О чём спорят мамы

— Вероника! У тебя губы синие! Выходи греться!

Мама Вероники махала рукой, призывая дочь. Вероника прыгала в волнах вместе с Димкой и ничего не слышала.

— Не слышит!

Вероника мама обернулась к Димкиной, которая сидела под зонтиком и тоже поглядывала на ребят.

— Да пусть плавают! Они только пятнадцать минут назад зашли!

— Вот именно! Целых пятнадцать минут! Ох! Нырнула! Уши зальёт! Они ныряют! А Диму волной накрыло!

— Да пусть накрывает, — отозвалась Димкина мама. — На то они и волны.

Мама Вероники помолчала.

— Ну, не знаю, — наконец сказала она. — Вероника у меня такая нежная. А я сумасшедшая мама.

Димкина мама тоже помолчала.

— Хотя в наше время лучше быть

беспокойной, чем равнодушной. Столько опасностей!

— Просто ужас! — кивнула Димкина мама.

Мама Вероники хотела что-то сказать, но снова отвлеклась на дочь. Всё-таки выловила Веронику из воды и закутала в полотенце. Димка тоже вылез. Как-то неловко было плавать одному.

Он растянулся на горячих камушках и закрыл глаза.

Прямо перед носом неожиданно что-то шлёпнулось. Оказалось — карточки с английскими словами. Мама Вероники громко объясняла:

— И книги, и словарь, и наборы для детского творчества. Что же она тут, бездельничать должна?

— Да пусть бездельничает! — Димкина мама пожала плечами. — На то и каникулы.

— Ну, не знаю, — Вероника мама покачала головой. — А как же непрерывность и универсальное пространство развития? Подготовленная среда? Вы ведь знакомы с системой Монтессори?

— В общих чертах.

Мама Вероники посмотрела так, что Димкина мама, наверное, должна была устыдиться своей необразованности. Но не устыдилась.

— Я не сильно поддерживаю идеи интенсивного развития, — улыбнулась она.

Вероника тем временем с ненавистью дыривала карандашом бумажный арбуз с английскими буквами. Она, кажется, тоже интенсивное развитие не поддерживала. Во всяком случае, во время каникул.

— Но в наше время без этого нельзя! — не унималась мама Вероники. — Надо всё успевать! Вот у Вероники — и танцы, и скрипка, и изостудия, и шахматы...

— Всё, кроме свободного времени! — не выдержала мама.

— А что им делать в свободное время? Мечтать о чём-нибудь опасном?

— Да пусть мечтают!

— А я считаю, что разностороннее эстетическое развитие ребёнку просто необходимо! Это важнее свободного времени. Хотя... — Вероника мама вскинула голову. — Вам это, может, и не надо. У вас же мальчишки!

Мама улыбнулась.

— А я думаю наоборот. Я же не буду вечно держать ребёнка за руку. Хотя к вам это, может, и не относится, — она помолчала и добавила. — У вас же девочка.

— Мама, мы купаться! — Вероника сбросила полотенце и помчалась к морю, пока её не остановили.

Димка за ней.

Мамы больше не спорили. И не разговаривали. Но купаться больше не запрещали.

Солнце готовилось укатиться за горы. На море уже появилась сверкающая дорожка. Мамы принялись собирать вещи.

— Мама, я нашла жемчужину! Это тебе!

Вероника держала на ладони крупную бусину. Не жемчужину, конечно, но очень красивую и яркую.

Димка подхватил из маминых рук самую большую сумку.

Мамы переглянулись. Всё-таки у них хорошие дети. Несмотря на разное воспитание.

ОЛЕГ АЛЁШИН

Сменил я плащ поэта на халат.
Выращиваю розы среди крапивы
И открываю книгу наугад,
Ища стишок любви непрехотливый.

Но чаще забавляет пастушок,
Который шёлком выткан на шпалере.
О чём тревожится его рожок,
Заблудший в выцветших
садах Венеры?

Хочу вернуться в Царское Село,
Но ради праздного скитанья.
Пока ещё по-летнему тепло,
Иного нет во мне желанья,
Как разыскать беспечный уголок,
Где наступает вечер синий;
Сплету лебяжьему пруду венки
Из шороха старинных лилий.
Увы, уж нет тех чёрных лебедей,
Воспевших царственную Леду.
С холодным мрамором в тени аллей
Продолжу тихую беседу
О том, что пригубил в седые дни
Источник бронзовой Пьеретты.
Её озябшие к утру ступни
Моей рукой теперь согреты.

Сегодня ветка белого жасмина
Несмело просится в открытое окно.
Ей хочется коснуться клавишина
И нежно пробудить

«Беседу муз» Рамо.

Но радует меня не шёпот складок,
Оживших в танце
целомудренных туник,
Мне почему-то шелест

листьев сладок

В заброшенных садах,
где некогда возник
Фонтан, который заглушал молчанье
Меланхолических

мусатовских мадонн,

Но призрачное их существование
Немыслимо без беломраморных
колонн.

Но здесь — в России —
в долгой зимней спячке
Мне часто снятся Фрагонара

прачки:

Среди развалин Рима и нагих богов
Бельё развешивают
сонных пастухов.

Однажды я заметил в отдаленье
Фонтан любви в раскидистом
свеченье,

Лаура по соседству
с шумным воробьём
С утра полощет беззаботно
юбки в нём.

Скитаюсь по заброшенным именьям
Один, без шляпы, трости и пальто.
Спросите: «Кто там бродит
в отдаленье?»

И вам ответят буднично: «Никто».
Я вырезан как будто из картона.
Невыразителен мой силуэт
На фоне уцелевшего проёма,
Но за которым прежней жизни нет.
Меня легко перемещает ветер,
И нет приюта мне, увы, нигде.
Но этот стылый день

прозрачно светел,

Как отражение дубка в воде.
Давно ушли с людьми отсюда боги,
Оставив в спешке несколько камней

На выцветшей обочине дороги,
И мне придётся уходить по ней.

ФАРФОР

...Зима внезапно наступила.
Включил я лампу над столом.
И показался вечер милым
Мне в обрамлении простом:
Гравюра фавна, юный Пушкин
С пером в фарфоровых мечтах.
Остыла чашка, где пастушка
Уснула в розовых цветах.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ГРАВЮРА

Последняя роза из летнего сада
Увяла сегодня на стылом окне
В предчувствии мраморного
снегопада,
Но слышит озябший цветок
в полусне
Негромкую флейту
влюблённого Пана...
Но тени спустились ещё на ступень.
За ржавой и каменной
чашей фонтана
В паническом страхе пронёсся олень.

ЭВРИДИКА ПОД ДОЖДЁМ

Я оглянулся. В неприютности
Её лицо прояснено.
На мраморе улыбку юности
Изгладили дожди давно.
Я уходил. Мерцали полосы.
Под ними я почти промок.
В её встревоженные волосы
Мне не воткнуть живой цветок.

ДОЖДЬ В КУСКОВО

Увы, не умею играть на рояле.
Но часто касаюсь
желтеющих клавиш,
Когда вспоминаю,
как ливни звучали...
И только ладони,
бывало, подставишь
Под дождь, что застиг
неожиданно где-то,
Невольно коснёшься
прохладных ваяний
В боскете короткого влажного лета,
То шествуют боги
из частных собраний.
Они равнодушны
к обширным циклонам,
Стучащим по мрамору
будто бы бивнем.
Промокший Меркурий
галантным поклоном
Приветствует нимфу
под сумрачным ливнем.



АННА ОСИПОВА



Анна Ивановна Осипова (псевдоним Анна Клещ) родилась и выросла в Тамбове. Писать стихи начала в подростковом возрасте. В 2001 году судьба привела меня в литературно-творческое объединение «Тропинка» к Валентине Тихоновне Дорожкиной, где я и начала свой осознанный путь в литературе. С тех пор я не раз публиковалась в местных и российских периодических изданиях и коллективных стихотворных сборниках. Последние несколько лет веду группу в социальной сети «ВКонтакте», где публикую свои произведения о любви и ненависти, жизни и смерти, радости и печали, природе и Боге.

ВАЗА

Двое купили вазу династии Цинь —
Он в неё ставил розы в любую погоду,
Она её мыла и часто меняла воду.
Благоухали их чувства несколько зим.

Годы летели, последний увял букет.
Вазу династии Цинь — на пыльную полку.
Ваза цела, но кажется лишь осколком
Бесценного дара, которого больше нет.

Продолжай звучать,
Даже если ты сильно расстроен,
Если каждый звук невпопад,
и не в лад, и не в такт.

Продолжай звучать
Среди радости и среди войн,
Ты не знаешь, кого твоя музыка может спасти.

Продолжай звучать,
Даже если закончились силы,
И смычок так тяжёл, и на клавишах руки, как лёд.

Продолжай звучать!
Помни — ты не один в этом мире.
Мы единый оркестр.
И важен в нём каждый аккорд.

Опять по капле с туч сочится осень
И мёдом по листьям стекает ниже,
А ветер, застревав в иглах сосен,

Последнее тепло на ветки нижеет.
И бабье лето в сарафане пёстром
Срывает на ходу рябины кисть...
А воздух снова пряный, пьяный, острый...
И в небе клин... А под ногами — жизнь.

Ты не сломан. С тобой всё в порядке.
Но осталась привычка играть
С этим миром в безумные прятки
И себя постоянно терять:
То в работе, то в детях, в любимых,
В каждой драме и в каждой игре,
Забывая о собственных крыльях,
О потребности сердца гореть.
Забывая, что где-то во мраке,
В пустоте твоих мыслей и схем
Есть душа, что трясётся от страха,
Ведь её потеряли совсем.
Посиди в тишине между делом
И услышишь — душа камертоном
Сонастроит вселенную с телом.
Всё в порядке. Ты точно не сломан.

Прокрастинация —
Способ почувствовать время.
Видишь, сквозь пальцы
Скользит белоснежный песок.
Крутятся вальцы,
Дробя непосильное бремя
На сотни фракций,
Чтоб ты его вынести мог.

Прокрастинация —
Радостно жить без простоя:
Тысячи акций,
И дел, и желаний, и мечт.
Только акация
Машет зелёной главою.
Прокрастинация —
Способ за жизнью успеть.

КОТ НА ВЕРАНДЕ (акrostих)

Колодец пуст — не скрипнет старый ворот.
Очаг потух давно, прогнила крыша.
Тут нет людей, не слышно разговоров,
Никто не ходит днём, никто не дышит,
А по ночам — лишь призраки, как воры.

Везде покой, всё заросло до крыши,
Едва ли разглядишь, где дом стоял.
Рябина красным глазом видит мышек,
— А я не вижу. Сам я старым стал.
Наверное, и я уже весь вышел.

Девятой жизни кончился завод,
Едва закрыл глаза матерый кот.

Как сложно написать о простоте!
Как выразить словами то, что просто.
Слова и мысли все совсем не те —
Не тех цветов, размеров или роста.

Ведь проще усложнять, чем упрощать,
Быть умствующим проще, чем молчащим.
Я каждую строку кладу в тетрадь
Гербарием словесной дикой чащи.

И слов перебирая лепестки,
Я выберу по жилкам на листе
Лишь те, что на излом дают стихи,
Чтоб просто написать о простоте.

Накрывают на стол: чайник, чашки,
Блюда звонкие, мёд и халва.

Кот не спит: караулит, когда же
Колбасу понесут со стола.

А в заварнике магия крутит:
Там вода превращает листья
В ароматные дымные струйки
И в слова, и, конечно, в мечты...

Вечер греет свой хвост возле печки,
И беседа течёт, как река...
Во вселенной сидят человечки,
Допивая десятый бокал.

АТЛАНТЫ

Мир сломан, но не сломлен... Атлантово плечо
Всё подпирает своды над головой пройдох,
А мы всё бьём Атлантов дамочным мечом
И пляшем на останках непризнанных эпох.

И с гордостью ломая все нормы и права,
Мы призрачные скрепы в тугой сгибаем рог.
Нас не увековечат... мы мусор, мы трава.
Хотя в мечтах и песнях мы думали: мы — бог.

ПИРОЖКИ

Мать достала муку и дрожжи,
Молока плеснула из кринки.
Тесто липнет слегка к ладошке,
Как на лютом морозе льдинки.

Замесила — под полотенце,
Ждать пока подымается, пухнет
Пирожковая квинтэссенция
В самом тёплом месте на кухне.

Тесто дышит, оно — живое,
Словно поле в тумане утром.
И становится больше втрое,
И пыхтит на нас почему-то.

Мама мнёт его снова, месит,
Тонко скалкой катает «блинчик»,
Прячет ложку варенья в тесте
И на противень — пусть подышит.

Замирает душа в истоме —
Сладкий запах ласкает сердце.
Пирожки — это праздник в доме.
Пирожки — это призрак детства.

Каждый несёт свет
В груди от погасших звёзд.
Каждый может спеть
Музыку высших сфер.

Если его нет —
Значит напрасно всё.
Есть только желчь и спесь
Вместо драконов и фей.

Просто ищи ответ —
Тот, что внутри живёт, —
Танец души... Весь
Мир — как оркестр флейт.

ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДОЖДЬ

Дождь барабанит по листьям акаций,
Как пианист проворными пальцами,
Стройной мелодией льются на листья
Чистые ноты из солнечной выси.

Капают, бьются, звенят и искрятся
С крыш и карнизов на спящую пьядца...
Великолепный и гордый, как дож,
Вновь по Венеции шестует дождь.



Приложение к «Рассказ-газете»

Литература и адвокатура

№ 4
2021 г.



Адвокаты-литераторы (слева направо): Владимир Самородов, Владимир Селивёрстов, Эдуард Емельянов, Семён Золотухин, Александр Попов.

Фото Аллы Селивёрстовой.

Литературный пленэр в Воронцовке

Воронцовские кряжистые дубы, просыпающиеся тысячами почек-мурашек, встретили нас, молчаливо храня тайны старых времён, липы же, вытянувшись к небу, ждали новую жизнь.

Мы все чего-то ждали. Чай на травах в глубине весенней рощи, пачка «Беломорканала» для антуража, тёплый шарф, пара простых фраз и шесть улыбок пообещали хороший день. Все разошлись с карандашами, ручками и

листами бумаги по роще искать литературную удачу. Я остановился у упавшего дерева, прилёг на него, пытаюсь найти равновесие, и начал набрасывать слова карандашом на листе, временами поглядывая на голубые разливы из подснежников в стороне и облака, пойманные в паутину дубовых ветвей наверху. Селивёрстовы Владимир Иванович с Алой Владимировной остались в центре рощи, созерцая, быть может, мечтая о чём? Семён Александрович

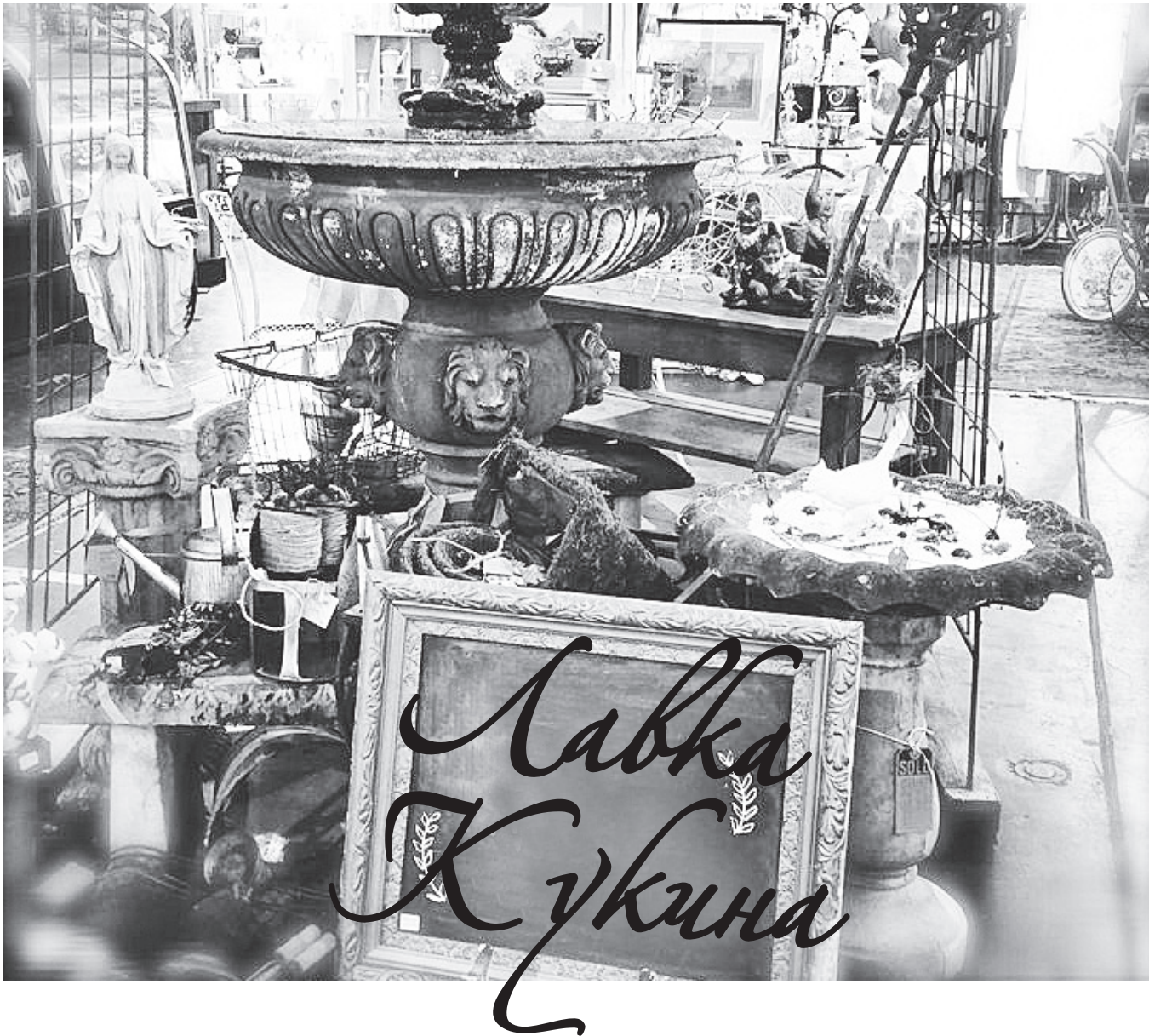
Золотухин нашёл небольшой пенёк и принялся усердно писать, чему можно было искренне позавидовать. Эдуард Викторович Емельянов прислонился к большому дубу на склоне, с которого открывается вид на речку и лесные дали. Александр Альбертович Попов пошёл вниз к реке, где была пришвартована старая замшелая лодка, в поисках драматургических находок.

В какой-то момент, прикрыв глаза, мне показалось, что я лежу в том, ещё

молодом, барском парке имени Ивана Илларионовича Воронцова. Вдалеке идут неспешные беседы, обсуждаются новости из литературного салона, самовары трудятся на чай. И вот меня зовут, боюсь, что перепутали, но нет, мужчина дореволюционной внешности с пенсне и аккуратно выстриженной бородкой настойчиво зовёт меня сударем, я, втайне улыбаясь, иду...

Владимир Самородов.

СЕМЁН ЗОЛОТУХИН



Лавка Кукина

В лавке старьевщика Власа Кукина не было окон, там всё время горел какой-то тусклый подслеповатый свет. Она располагалась в подвале городского музея краеведения, и знали о ней все любители старины.

Кукин, грузный человек с салными волосами, маленькими внимательными глазами на широком, как блин, и каком-то заплывшем лице, целыми днями сидел в старом кресле за прилавком. Обычно торговец стариной одевался в поношенный синий пиджак, застиранную белую рубашку и чёрные заплатанные брюки.

Посетители лавки приходили и уходили: любопытствующие горожане, сумасшедшие собиратели, хитрые спекулянты.

Чего только не было в лавке! Старинные часы без механизмов, книги с оборванными корешками, фотографические карточки неизвестных горожан, сломанные граммофоны и стёртые монеты, разрозненный фарфор и покаленная бронза, картины неизвестных художников...

Павел Викентьевич Кречет, брюнет с печоринскими бачками и почти греческим носом, служил казённым юристом в городской администрации города Рамбова, часто ходил по судам, безуспешно отстаивая в скушных залах правду и кривду городских властей.

Кречет не любил ни эту лавку, ни самого Власа Власовича Кукина. Он редко, всего лишь два-три раза в год, заходил в неё. Бывал он там, движимый скорее рассеянием, чем чётко поставленной целью.

Вот и в этот дождливый сентябрьский вечер Кречет, прогуливаясь по Сумароковской, решил заглянуть под своды городского музея краеведения.

Он любил этот музей. Сейчас он располагался в бывшем Доме Красных Лекторов, здании, построенном в стиле советского псевдоклассицизма. Раньше, до событий августа 1991 года, музей занимал Собор Вознесения Христова, закрытый большевиками. Когда-то его водил туда отец, городской прокурор, человек доброго сердца, оригинального образа мыслей и неожиданных поступков.

Мальчик разглядывал старинное оружие — шпаги, сабли, палаши, кортики, любовался двумя пушками времён 1812 года, засматривался на пулёмёт Максима, знакомый по фильму «Чапаев».

Сложив свой зонтик, ставший тростью, Кречет, войдя в музей, неспешно прошёл через пустой вестибюль и спустился в лавку Кукина. Сам себе он напоминал меланхолического фланера, одетого в длинное чёрное пальто и немного потёртый серый картуз с каракулевой оторочкой. Кречет одно время переживал из-за того, что этот картуз уже не нов, думал купить новый, но потом рассудил, что старый картуз выглядит солиднее и является вещью при человеке.

От встречи с Кукиным Павел Викентьевич ничего не ожидал, равно как и от посещения его лавки.

Кречет не был собирателем, и лишь изредка, повинуясь какому-то не совсем ясному ему самому капризу, он покупал в лавке то пару фотографий, то медную чернильницу, то статуэтку танцующей балерины.

В этот раз в лавке никого не было. Павел Викентьевич поздоровался с торговцем. Кречет редко разговаривал с Кукиным о предметах, не относящихся к старым вещам. И в этот раз он молча осматривал выставленные для продажи вещи.

На одной из дальних полок он увидел кортик и попросил Кукина показать

его. Тот с охотой достал кортик, пояснив, что он, видимо, принадлежал морскому офицеру времён Николая Второго по фамилии фон Яннау и как-то связан с Ельцовкой, районным центром, где когда-то располагалось имение графов Бенкендорфов.

Кречет осмотрел кортик. Он был не совсем обычный. На рукояти кортика выгравировано: «Иоахим фон Яннау». Кроме того, на его лезвии были изображены две руки, соединённые в пожатии, а под ними надпись на немецком языке. Кукин, видимо, хотел пояснить, что значила эта надпись, но в том не было нужды: Павел Викентьевич, не дослушав его, сказал, что это девиз «Друг для друга». Он знал по-немецки.

Цена оказалась серьёзной — 25000 рублей. Однако Кречет договорился со старьевщиком, что деньги принесёт завтра к двум часам пополудни. На том они и расстались.

В трамвае всю дорогу до дома, Кречет думал о таинственном кортике. Он решил, что должен его приобрести, невзирая на большую сумму. Деньги для этого у него имелись.

Обитал Павел Викентьевич на самой окраине Рамбова, в улице Старожиловской, в доме, принадлежавшем супруге, который Кречет называл донжоном. Он любил, возвращаясь со службы домой по вечерам, выйдя из трамвая, медленно идти по тёмной безлюдной улице с сиротливо мигающими фонарями, видя впереди силуэт дома, слушая собственные шаги да лай дворовых псов.

Кречет ничего не сказал жене о визите к Кукину и о кортике. Его интересовал род фон Яннау. Уединившись в своём кабинете, он раскрыл справочник остзейских дворянских родов за 1914 год. Действительно, род баронов фон

Яннау был одним из самых древних и знатных. Нашёлся и Иоахим фон Яннау, лейтенант императорского флота, служивший в Кронштадте на крейсере «Двина».

На следующий день, около двух часов дня, Кречет открыл дверь музея. В пустом вестибюле ему встретилась незнакомка в коричневом пальто и шляпке «клош», очень похожая на актрису Кэрол Ломбард. Павел Викентьевич невольно задержал на ней взгляд. Она, не взглянув на прохожего мужчину, пробежала по вестибюлю к выходу и пропала за дверью.

В лавке никого не было. Войдя, Кречет почувствовал еле уловимый запах духов «Герлен». За прилавком, как всегда, в старинном кресле сидел Кукин, который не ответил на приветствие вошедшего. Кречет с ужасом увидел, что из груди Кукина торчит рукоять кортика лейтенанта фон Яннау. Старьевщик был мёртв.

Увидев кортик, Кречет подумал, что теряет его навсегда...

Кречет очнулся через час. Он сидел за столиком кафе «Арчибальд» за чашкой капучино. Он потребовал у бойкого официанта рюмку «Мартеля». Руки Кречета дрожали, и, выпив коньяк, он вдруг со всей отчётливостью вспомнил, что кортик, вынутый им из груди Кукина, лежит у него в портфеле, а сам торговец старинными предметами сидит там, в своём старом кресле, в полной темноте. С ужасом Павел Викентьевич подумал, что его кто-либо мог увидеть. Но нет, успокоил он сам себя усилием воли, этого не могло быть, он же всё проверил.

О смерти Кукина скоро стало известно в Рамбове в узких кругах. Убийцу его не нашли. На похороны старьевщика, которого предавали земле на Иоанновском кладбище, пришло довольно много людей. Шёл проливной дождь, речей не произносили, плакала только одна женщина, сестра Кукина — единственный оставшийся в мире живых близкий ему человек.

Кречет, сам не понимая почему, приплёлся на похороны и стоял в каком-то трусливом оцепенении за спинами собирателей, спекулянтов и зевак. Он думал — путано, сумбурно — о кортике, который теперь лежал у него в ящике стола, в кабинете, о том, что сделал он..., о том, кто же убил антиквара... Он не желал, не хотел думать, что это была она, эта женщина... Этого просто не могло быть! Тогда кто же это мог сделать? И нужно ли это ему знать теперь? А деньги? Что теперь делать с 25000 рублей? Пользы они теперь не принесут, это несомненно...

Сделавший своё дело священник с неопрятной рыжей бородой споро пробирался к выходу. Кречет взглянул на него и поклонился. Это был отец Никодим Куницын, который часто заходил к Кукину за предметами церковной старины. Отец Никодим приостановился, поздоровался, скорбно завёл глаза к небу и сказал Павлу Викентьевичу, что покойный много жертвовал на церковь.

Вдруг кто-то задел Кречета сзади, он обернулся. По тропинке между могильными оградами к выходу из кладбища пробиралась блондинка в коричневом пальто и шляпке «клош»...

Продолжение следует.

ВЛАДИМИР САМОРОДОВ

Пианино

В тени старинного чёрного резного пианино стояла двухпудовая гиря, под которой не было пыли.

Владимир Иванович получал физическую радость от мышечной гимнастики, а душевную — от звучания пианино. Каждый раз, возвышая гирю над головой, он думал о достигнутых успехах в карьере, постоянной борьбе за жизнь, необходимости быть сильным и независимым.

С фортепиано всё было сложнее: музыка, исходящая от этого чёрного шкафа с педальками и большой выпуклой полкой впереди, уносила его в бестелесные субстанции, где он был безоружен, как ребёнок, и счастлив.

Когда-то родители привязывали его, маленького, к пианино. Он выучил несколько песен: «Полушко-поле», «Кузнечик» и «На сопках Маньчжурии»... Родители очень хотели, чтоб Володя научился играть на пианино. Но таланта не случилось.

Под вечерним тёплым абажуром отец наблюдал, как нехотя, опустив голову, сынок перебирает клавиши, даря пространству разрозненные звуки.

— Ну хорошо, Володя, возьми перекур, — вздыхая, говорил отец.

Через некоторое время он сам садился за инструмент, опускал лаковые туфли на педали, засучивал рукава белой рубахи, закрывал глаза и замирал на минуту, будто договариваясь на игру. Неожиданно вспышка музыки заливала все вокруг, останавливая время. Силуэт играющего отца переносился из реальности, улетая вместе с пианино куда-то высоко, даря необъяснимую и загадочную мелодию счастья. Уставший Володя засыпал...

Перекур затянулся. За это время Владимир Иванович начал и бросил курить, сделал карьеру, женился, воспитал двух детей. Он больше не прикасался к инструменту, который теперь сторожил тишину родительской дачи.

Бывая на концертах, он всегда замирал от музыки фортепиано, улетая под тёплый родительский абажур, представляя себе таким маленьким и беззащитным перед таинством судьбы. Пальцы его порой подёргивались во время прослушивания мелодий. Ему казалось, что он ещё юный, что это такая игра, что пианино живое, это член семьи, который отвечает музыкой, если с ним уметь разговаривать. И если с ним однажды договориться, то оно будет играть всегда, даже когда ты пускаешь на улице воздушного змея или едешь на велосипеде на речку, обгоняя родителей. И этой музыке не будет конца.

Неожиданно Владимир Иванович привёз чёрное резное пианино с подсвечниками с родительской дачи, установив себе в кабинет. Он разучился играть даже те детские мелодии и иногда вечером в тишине перебирал клавиши, рождая разные несвязные звуки, пытаясь повторить ту мелодию. Пожилой педагог Семён Львович часто приходил к Владимиру Ивановичу и

уважительно сидел рядом, подсказывая, разъясняя азы игры на инструменте. После двухчасовых упражнений в неделю получал от ученика надбавку к маленькой пенсии. Бывало, что от Семёна Львовича исходил небольшой запах алкоголя, но Владимир Иванович прощал ему; Семён Львович в свою очередь прощал ему также многое в музыкальной учёбе.

Иногда он вежливо просил Владимира Ивановича не давить так сильно на педаль и не жать резко на клавиши. Но широкие плечи, расправленные над пианино, и властные руки отражались в чёрном лакированном дереве, пытаясь обладать инструментом. Часто Семён Львович вздрагивал от резкого звука пианино, а у его ученика начинали плакать потом седеющие бакенбарды. Владимир Иванович останавливался, подходил к шкафу, нащупывая на верхней полке свежий сухой платок. Открывался висящий в полный рост выглаженный генеральский мундир, пугающий Семёна Львовича пустой оболочкой человека. В таких перерывах учитель закуривал и, непременно спотыкаясь о гирю, выходил на балкон стальной квартиры смотреть монотонное кино городской жизни. Владимир Иванович в это время делал разминку рук, ног, спины и шеи.

— Я знал вашего отца, — говорил Семён Львович, — это был интеллигентный человек, очень начитанный.

После этого они ненадолго делали тишину молчанием.

Командирские часы, аккуратно поставленные на пианино, подводя двухчасовую встречу к концу, предлагали завершить уроки и расстаться. Они деликатно раскланивались до следующей встречи. Семён Львович, прихрамывая, говорил добрые слова об игре, что есть уже что-то, говорил, что всё будет хорошо, нужно время...

Владимир Иванович порой за обеденным столом перебирал воздух пальцами, как бы играя мелодию, закрывал глаза и тихонько качал головой.

Однажды Семён Львович не пришёл и не взял трубку телефона. Соседка сказала, что у него был приступ и его увезли дети к себе в Петербург, квартиру будут выставлять на продажу.

Спустя какое-то время Владимир Иванович нашёл молодого педагога, который согласился давать ему уроки. Его рекомендовали знакомые как очень талантливого музыканта, лауреата многочисленных конкурсов. Тот же пришёл и после первых сыгранных нот сказал, что пианино очень сильно расстроено и играть на нём невозможно. Через день он приехал с мастером, который долго нажимал педали, простучивал клавиши, открывал и закрывал инструмент, а потом объявил, что пианино восстановлению не подлежит ввиду пребывания в течение длительного времени в расстроенном состоянии.

В квартире Владимира Ивановича стало как-то непривычно тихо.



1.

Не помню, когда впервые её увидел, но было это во дворе нашего дома. Мы с ребятами гонялись возле турников, а по дорожке, ведущей к соседним многоэтажкам, проходила девушка. Она была заметно старше меня. Слегка вьющиеся каштановые волосы чуть покрывали плечи, оставляя светлое лицо открытым, а синяя кофта и джинсы отчётливо выделяли абрис её фигуры на фоне прямоугольных дворовых построек.

Кто-то назвал её Ряской, и я не сразу понял, что это кличка. Прозвучала она красочным и женственным именем. Только в интонации таились недоступность и рискованность этой девушки.

В некоторые подробности меня посвятил сосед Юрка.

— Это Ряска с пятого дома, старшеклассница, — сказал он и добавил: — Ты в курсе, что она с Кэпом кружится?

Про Кэпа знали все. Он был в предармейском возрасте и значился в главарях местной шпаны. Тогда моя влюблённость не отметила и десятиминутный юбилей, как такое известие сильно озадачило. Однако природа этой девушки не признавала ни расчёта, ни обдумывания. Теперь я стал чаще замечать, как вечерами Ряска с Кэпом на красном мотоцикле проезжали по нашему двору и останавливались, когда там собиралась молодёжь. С их приездом всё оживлялось, старшие ребята хорохорились, поблёскивали шарами накачанных бицепсов, а из кассетника «Романтика» громче звучала западная музыка.

Кэп глушил 125-й Минскач, а Ряска, перекинув ногу через седло, снимала шлем и уверенно входила в круг ребят. Казалось, она не знала никаких преград. Понимала, что нравится парням, и умела пользоваться этим даром. Каждый хотел ей понравиться.

Она легко прекращала все споры, достаточно было ласково провести ей по воздуху рукой, как будто она успокаивающе поглаживала чью-то взъерошенную голову.

Было видно, что ребятам это нравилось. В это время Кэп заводским матом ставил Минскач на подножку и, достав из-под сидения сигареты «Космос», заходил к ней в центр. Он без стеснения её обнимал и, не выпуская сигарету изо рта, шутил и травил анекдоты. Дым и смех висели над всей этой компанией.

Пока мотоцикл отдыхал, мы оравой его окружали, а он, склонив переднее колесо, казалось, подмигивал нам блестящей рифлёной фарой. Каждый хотел, но боялся потрогать разгорячённый движок, красный бензобак и толстые хромированные трубы. Перекрикивая друг друга, мы мерились знаниями о мощности этой завидной техники.

Если во дворе появлялся кто-то подвыпивший и начинал цепениться к парням, то Ряска, как оцетинившаяся кошка, с широко раскрытыми глазами его усмиряла, но чаще развевала угрозу забываемым фруктовым смехом.

ЭДУАРД ЕМЕЛЬЯНОВ

*Моя леди
Гамильтон*

Когда темнело, родители загоняли нас домой, а они садились на мотоцикл и Ряска обнимала Кэпа белыми ручками. Под ворчание старушек он, порывивая в ответ ручкой газа, куда-то её увозил, а я, провожая их взглядом, чувствовал зарождение мужской ревности.

Перед сном я подолгу не мог заснуть и, глядя в окно, мечтал, как вырасту и у меня будет свой мотоцикл, не Минск, как у Кэпа, а мощная 350-я Ява — та, что с серебристой полосой на бензобаке. Я представлял, что приду с работы домой, а супруга Ряска, улыбаясь, меня встретит. При этом я взрослый, а она такая же, как и сейчас, — лет семнадцати. Ближе к ночи мы на красном мотоцикле будем кататься по городу, а знакомые из дальних районов города перемолвятся, что Ряска — это не только красивая девушка.

Конечно же, мне тогда было непонятно, и я задумывался, почему она выбрала именно Кэпа. Как я слышал, он любил превращать конфликты в шоу. Так, однажды милиция подъехала к его пьяной и шумной компании, а после попытки доставить в отделение они перевернули патрульный УАЗик и скрылись.

Кэп всем показывал, что Ряска принадлежит только ему, однако остановив её взгляд, положим, на губастом скрипаче из первого подъезда или весёленьком футболисте, что постоянно набивал мяч на ноге, или даже на неброском, но всюду пронывливом барыге, то выбранный ею счастливцем занял бы место в центре.

2.

Этим летом я помогал местным мальчишкам на даче перегнать лодку из залива на реку. Пробираясь сквозь камыши, лодка завязла. Пришлось снять вёсла, чтобы оттолкнуться от дна. В это время кто-то из ребят крикнул приятелю: «Смахни ряску с вёсел!»

Прозвучало это так же ярко и резко, как тридцать лет назад. Вспомнился образ той девушки из детства, и я задумался — где она сейчас?

...В тени заметно подросших деревьев я прошёл по двору, где остались детство и юность. Постоял у дорожки, где впервые её увидел, и нашёл ту лавку, где собирались ребята. Вспоминал, грустил и почти погрузился в тот прежний мир, как вдруг послышалась старая, некогда популярная песня:

Где-то за окном, словно за бортом,
Вдаль плывёт моё детство.
Леди Гамильтон, леди Гамильтон,
Я твой адмирал Нельсон.
Как она ждала, как она звала,
как она пила виски!
Леди Гамильтон, леди Гамильтон,
Ты была в моей жизни.

Это припарковался приятель из детства, а ныне сорокалетний солидный мужчина, с которым, казалось, мы не так давно гонялись по двору. Расспросив про жизнь, я потихоньку перевёл разговор на Ряску, полагая, что с таким умением управляться с мужчинами она, верно, заправляет бизнесом или стала кем-то иной, но, несомненно, выдающейся. Однако он поведал плачевную историю из давно минувших «девятиностых», а в окончании указав пальцем в землю, вздохнул и добавил: «И была Ряска двадцати весёлых лет».

ВЛАДИМИР СЕЛИВЁРСТОВ

Коварство или любовь?

Готовится к изданию новая книга Владимира Селивёрстова, посвящённая Константину Юльевичу Старынкевичу. Сегодня мы публикуем отрывок из нового исторического романа писателя. О жизни главного героя известно немного. Потомственный дворянин. Скончался вместе с Российской империей в 1917 году. Окончил в Москве гимназию. В 1879 году выпустился из Александровского военного училища в прапорщики Литовского гвардейского кавалерийского полка. В 1883—1884 годы — младший чиновник по особым поручениям канцелярии тамбовского губернатора барона А.А. Фредерикса.

С 1884 по 1886 год — полицмейстер Тамбовского губернского управления полиции. 1886—1902 годы — Кирсановский уездный полицмейстер.

По совместительству выполнял общественные обязанности директора уездного тюремного отделения, почётный член пожарного общества, член уездного по вопросам воинской повинности присутствия, член уездного по питейным делам присутствия. С 1900 года — городской полицмейстер Тамбова. Начальник команды губернского Вольного пожарного общества. В предреволюционные годы исполнял обязанности делопроизводителя губернского комитета по народной трезвости. Заведующий делопроизводством Мариинского детского приюта. Награды: ордена Святого Станислава третьей и второй степеней, Святой Анны третьей и второй степеней, Святого Владимира четвёртой степени.

...Старынкевич с юности любил поезда и вокзалы. Они волновали его, обещая чудо и приключения. А чудовища паровозы, их тяжёлая одышка внушали страх и восхищение. Запахи сторающего угля, горячего машинного масла, металла рельсов. Идёшь по перрону — и вдруг мягкий удар паром, вокруг тёплое облако, сначала испуг, потом смех. Линейные голубые жандармы с красными лицами, увешанные жёлтыми шнурами, сверкая медными бляхами, звякая чёрными шапками-селёдками, упредительно сопроводили полицейского генерала до купе для особых особ. Среди малинового панбархата, звякающей слепящей бронзы, глядя в своё отражённое лицо и затылок в повторяющихся зеркалах, Старынкевич почувствовал давящую усталую тоску, навалившуюся за последние дни тревожными заботами. Физические занятия всегда на него действовали как снотворное. Вот и сейчас, дабы быстрее заснуть, он сделал получасовую зарядку под музыку-перестук рельсов, выпил серебряную рюмку — напёрсток коньяку — и упал уже в полусне в мягкие бархатные объятия Морфея-дивана. В Рязани, звякнув медными шпорами, разбудили телеграммой. «Искомая вами особа сорит деньгами, заказала заграничный пачпорт».

В ресторанах запахи и звуки одинаковы — звон бокалов, тарелок и вилок и рокот говора, смех легковесных девиц, надрывные голоса и голые плечи второсортных певцов. Её он сразу узнал по подробному описанию и совершенно неподражаемой внешности, по отчаянной, победительной, уничтожающей добродетель красоте. Золотую шапку волос венчала шляпка спелой соломки с незабудками. Малахитовые озерца обрамляли опахала ресниц и полумесяцы чёрных бровей. Красное крепдешинное платье теснило обильную грудь, из матовой ложбинки брызгал искрами такой алмаз, что даже в зернистой икре сверкали искры. Пахло дорогим «одеколоном» и жареным с базиликой мясом, но доносившийся от неё призывный аромат перекрывал эту пошлость. В глазах брезгливое неуважение ко всему роду людскому. Она сразу от-

метила седеющего красавца в серой тройке с чёрной бархатной оторочкой, изумрудами запонок и толстой золотой цепью на спортивном животе от швейцарских часов Буре. Щёголь и богач — сразу понятно. Старынкевич бегом оглядел зал, напрямик направился к оглушительной и оглушающей красоте и с галантными церемониями напросился за её столик. Через полчаса ресторан восхищался этой парой, украдкой наблюдая развитие их отношений. Два идеальных экземпляра человеческого племени. Как внешне и внутренне они полюбовались. Особи обоего пола, и особенно дама, играли роль влюблённых. Он преследовал цель изобличить преступницу, она — завладеть его деньгами и скрыться за границу. На эти служебные и меркантильные стремления наложилась самая дошлая, пошлая плотская взаимострасть, победившая ненадолго все остальные чувства. Она уверилась, что её ждёт Париж, а он уготовил ей каторгу.

...Воспламенившаяся страсть не затухала почти до рассвета. Старынкевич давно не испытывал такого любовного огня. В перерывах между соитиями они молчали. Вместо слов говорили и общались тела. Когда Нюрка-Мадлен утомлённо засыпала, уткнувшись в его плечо, Старынкевич вкрадчиво спросил:

— А где золотой кинжал?

— Заложила Шредеру.

Через секунду до неё дошло, вскопчила, завопила что-то кошачье, злое и ощеристое. Бросилась к туалетному столику, вытащила маленький браунинг и навела на полицмейстера.

— О чём спросил? Ты кто?

— Тамбовский полицмейстер, опусти оружие. Убьёшь меня — повесят.

Благо Нюрка стреляла по-женски, замуравшись, страшась выстрела, неприцельные две пули улетели бесполезно в настенное зеркало, когда Старынкевич метался из стороны в сторону. Сильный удар кинул навзничь и выбил сознание, а когда оно вернулось, руки теснили-резали наручники из сыромятной кожи.

— Сейчас прибудет судебный следователь. Выбирай — бессрочная каторга за разбой с убийством и за покушение на тамбовского полицмейстера

виселица или лишение жизни при превышении самообороны от насилия — всего лишь какие-то три года тюрьмы. При твоей молодости это не беда и уж тем более не горе.

Через три месяца, в знойный июльский день, в Тамбовском окружном суде слушалось дело Анастасии Тришкиной. Обвинение на присяжных не тянуло, поэтому за громадным дубовым столом под тяжёлым медным двуглавым орлом и нестерпимо начищенным сапогом императора скучала и потела коллегия из трёх судей. В раскрытые окна проникал золотой вихрь пыли, поднимаемый многими экипажами и редкими автомобилями. Мерный топот-перестук копыт клонил в сон. Председательствующий Обухов глотал слюну, мечтая о лимонаде со льдом. Защищал Нюрку присяжный поверенный Луженовский, местный Цицерон и Плевако, кумир гимназисток, курсисток и скучающих матрон. Внешностью он напоминал сразу Геракла и Гераклита в одном лице. Мужская красота дополнялась острым умом и красноречием. Чёрствые судьи и те заслушивались правовыми руладами тамбовского соловья-адвоката. Правда, старался он до умственного пота и усталости мысли не столько для судей, сколько для зала, громыхая эмоциями, далёкими от существа дела и находящимися за границами обвинения. Среди гладко причёсанных девиц с выщипанными бровями в белых шёлковых пелеринках сидела и гимназистка Машенька Спиридонова, дочь акцизного чиновника, будущая его убийца. Она затаив дыхание, не мигая зелёными глазами, слушала бархатный баритон и смотрела на своего кумира. Через два года на толполюдном Борисоглебском вокзале, среди густой казачьей сотни она всадит в могучее тело своей первой девичьей любви пять отравленных пуль из револьвера Нагана. Тришкина, закутавшись в серый тюремный халат, сидела на скамье подсудимых, совсем не похожая на былую сладкую конфетку в красивой обёртке. Вину свою



она приняла ещё на первом допросе Старынкевича.

— Я не жалею. Так должно случиться рано или поздно. Семёнов был бессильным баболобом. Знали бы, что он вытворял надо мною! Старый хрен и хрыч. Вытворял такие гадости и пакости, что и подумать стыдно. Гадко, да сладко платил. За час охальства — десять рублей. Где такие деньжищи заработаешь? Весь капитал он в доме не держал — боялся. Крал в Земельный банк на Дворянской. Сам на каждом углу кричал, чтоб не ограбили. Ну а дальше женская моя сущность верх взяла над жадностью. Заколола я его тем самым золотым ножом, через который вы меня и прищучили. Но корысть и стубила — не могла с ножиком расстаться, больно дорогой и красивый, с сапфиром и алмазом.

— Позвольте в эту вашу дамскую фантазию не поверить.

— Говорится, от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Только я суму предпочитаю, набитую червонцами.

От неожиданного приговора Нюрка упала в радостные рыдания — четыре года каторги. Луженовский раскланивался на аплодисменты публики и воздушные поцелуи дам. Узнав о приговоре, Старынкевич почувствовал лёгкую неприязнь к себе. Из всей этой истории Старынкевич вынес истину — настоящий сыщик не только тот, что ищет преступника в других, но и в себе, находя и изгоняя злобу и ненависть к людям.

Адвокатское бюро «Селивёрстов и партнёры» признано победителем ежегодного профессионального конкурса Адвокатской палаты Тамбовской области в номинации «Лучший адвокатский коллектив» по итогам 2020 года!

Коллектив адвокатского бюро выражает благодарность руководству Адвокатской палаты Тамбовской области за поддержку творческих и профессиональных начинаний.

ОЛЕГ АЛЕШИН

Жри встречи с музой

Жаловаться на жизнь Иннокентию Сергеевичу, казалось, грешно: двое детей, тихая жена, отремонтированная квартира в престижном районе областного центра, хорошая работа, новый автомобиль, но, увы, для полного счастья ему не хватало музыки.

Хотя сорокалетние мужчины часто не могут отличить жительниц Парнаса от любовниц. Но Иннокентий Сергеевич был добропорядочным семьянином и на адюльтеры своих женатых друзей и знакомых смотрел если не осуждающе, то с подчёркнутым равнодушием.

Иннокентий Сергеевич всегда и везде искал свою музу: в музее, библиотеке, супермаркете...

Как только он оказывал лёгкие знаки внимания какой-нибудь даме, в облике которой он угадывал лёгкие черты Евтерпы, почти сразу возникал конфуз, точнее, женское недопонимание намерений немного странного, но на вид приличного человека.

До цветов и подарков дело никогда не доходило. Иннокентий Сергеевич лишь подолгу и заворожённо смотрел на понравившуюся ему женщину, что, конечно, не могло не смущать предмет его внезапного обожания.

«Что ему надо?» — этот вопрос по обыкновению будоражил почти каждую молодую особу, которая чувствовала на себе стойкий взгляд Иннокентия Сергеевича.

Хотя, бывало, некоторые женщины терпеливо ждали, когда, наконец, этот высокий, с лёгкой сединой мужчина отважится подойти для знакомства.

Но Иннокентия Сергеевича всегда что-то сдерживало, останавливало.

Четвёртого дня у мэрии, выходя из машины, он заметил весьма необычную для провинциального городка даму. Он сразу же прозрел в ней возвышенный образ, созданный некогда итальянским монахом-художником Филиппо Липпи. Профиль женской головки, склонённой в молитве, на фоне остывшего золота давно украшал панель его мобильного телефона.

«Да, это точно она, — внушал себе Иннокентий Сергеевич. — Ради этой женщины Филиппо ушёл из монастыря, неужели я не решусь заговорить с ней?»

Иннокентий Сергеевич, на ходу поправляя галстук-бабочку, направился в сторону незнакомки, которая была одета в лёгкое пальто порфиородного цвета.

— Простите за бестактность, но вы не могли бы мне уделить всего одну минуту? — смущаясь, Иннокентий Сергеевич остановил её.

— Да, конечно, — улыбаясь, ответила она.

— Вы не хотели бы, стать моей музой? — неожиданно для самого себя выпалил Иннокентий Сергеевич.

— Это что, шутка такая? — недоумевала незнакомка.

— Простите, я, кажется... — Иннокентий Сергеевич совсем растерялся.

— А что для этого нужно? — решила вдруг поддержать разговор незнакомка.

— С вашей стороны ровным счётом ничего, позвольте лишь мне любоваться вами. Было бы счастьем, если бы мы иногда посидели в кафе за чашкой чая, поговорили немного о литературе, живописи — словом, об искусстве. Позвольте мне служить вам, вашей красоте, — приободрившись, ответил Иннокентий Сергеевич.

— И всё? — рассмеялась она.

— Да, да, уверяю вас. Вам нечего опасаться.

— Но всё это как-то подозрительно, согласитесь.

— Наверное, я похож на глупца. Хорошо, я раскроюсь вам. Вот уже два года, как я пишу роман, но не продвинулся дальше первой главы. Мне нужна муза, чтобы его завершить.

— А вы уверены во мне?

— Вне всякого сомнения.

Незнакомка на клочке бумаги написала несколько цифр и отдала его Иннокентию Сергеевичу...

Вечером он впервые за последние две недели написал небольшой абзац, поминутно воскрешая в своём сознании образ женщины, которую встретил на улице.

Утром он решил позвонить музе. Но она почему-то не отвечала. Иннокентий Сергеевич не стал перезванивать, полагая, что это не совсем удобно. Он ждал, когда его муза перезвонит, заметив на мобильном телефоне неприятный звонок, но прошёл день, второй...

Иннокентий Сергеевич уже не знал, что ему делать. В конце концов, решил отправить сообщение, умоляя о встрече.

Он был счастлив, когда вдруг телефон ожил и на экране появился ответ: «Согласна, но всего на три встречи, о месте и времени сообщу сама».

И всё. Иннокентий Сергеевич понимал, что ему придётся принять её условия.

Всю последующую неделю он что-то писал по ночам, но тщетно, утром на работе он перечитывал главы из своего романа и нещадно удалял все файлы на ноутбуке.

В понедельник утром Иннокентию Сергеевичу позвонила муза. Она подробно рассказала ему, где состоится их первое свидание.

Но Иннокентий Сергеевич как-то сразу сник, когда узнал, что завтра придётся ехать в какую-то глухомань за сто пятьдесят километров от города.

«Зачем мне всё это нужно?» — этот вопрос поскорее попытался изжить в себе Иннокентий Сергеевич.

Сославшись на недомогание, он отпросился со службы и на следующий день отправился на первое свидание с музой.

Правда, Иннокентий Сергеевич недоумевал, как она доберётся сама до места их встречи. Ведь от его услуг обитательница Парнаса отказалась.

«Скорее всего, она за рулём», — утешал он себя этой мыслью.

Больше двух часов Иннокентий Сергеевич добирался до места, за это время не раз пожалел себя, согласившись на эту авантюру, и машину, которая впервые в своей железной жизни сошла с асфальта на просёлочную дорогу.

Впереди он вдруг заметил музу. Она стояла около какого-то камня. Иннокентий Сергеевич вдруг осознал, что въезжает в сельское кладбище, которое как-то странно расположено: с одной стороны дороги простые кресты, а с другой — некрополь.

— Свидание на сельском кладбище. Да, будет что вспомнить, — пытался иронизировать Иннокентий Сергеевич, выходя из машины.

На музе была широкополая шляпа, прикрывавшая её от полуденного солнца. В своём наряде она была похожа на дачницу девятнадцатого века. В её руке он заметил тщедушный букетик полевых цветов. Розы, которые приготовил Иннокентий Сергеевич для музыки, вдруг показались ему слишком вычурными.

— Положите их у этого камня, — понимая замешательство Иннокентия Сергеевича, сказала муза. — Камень и розы. Благородное сочетание.

— Да, пожалуй, вы правы, — тихо произнёс Иннокентий Сергеевич.

Он вслух прочитал имя, выбитое на камне: «Елизавета Дельвиг».

— Это имя сюда занесло, как невестомое семя полевого цветка, но на его месте пророс этот обтёсанный высокий серый камень, — вздохнул Иннокентий Сергеевич.

— Я люблю посещать забытые могилы. А вы?

Но Иннокентий Сергеевич ничего не ответил.

— Что ж, мне пора, — неожиданно стала прощаться муза.

Иннокентий Сергеевич лишь пожал плечами, понимая, что уговорить женщину прогуляться по окрестностям заброшенной дворянской усадьбы — пустая затея.

— А я, пожалуй, немного пройду. Удачи вам, милая Евтерпа, — сделав небольшой поклон, попрощался Иннокентий Сергеевич.

Гуляя по одичавшему английскому парку, он пытался понять замысел музыки, которая так быстро удалась от него, но ничего путного в голову не приходило.

Вечером он открыл компьютер, но не прошло и четверти часа, как он захлопнул крышку.

Через два дня муза вновь позвонила Иннокентию Сергеевичу.

— Добрый день. Вы ещё не разочаровались во мне? — послышался её голос в телефонной трубке.

— Нет, нет, мне приятно с вами общаться.

— Тогда жду вас сегодня вечером в пригородном лесу. Точный адрес вышлю сообщением.



— Да, конечно, я непременно буду.

Как оказалось, муза назначила свидание недалеко от дома престарелых, который затерялся среди высоких сосен и пионерских лагерей. Иннокентий Сергеевич решил выехать пораньше, чтобы немного прогуляться в лесу до их встречи.

Около обшарпанного пристанища старости он заметил на лавочке свою музу, которая сидела рядом, по всей видимости, с одним из его постояльцев. Они о чём-то тихо говорили. Муза заметила Иннокентия Сергеевича. Она спешно простилась со своим собеседником и направилась в сторону Иннокентия Сергеевича.

— Вы часто у него бываете? — спросил он.

— Да, почти каждый день. Это несчастный, забытый всеми человек, он нуждается во мне.

— Я тоже нуждаюсь в вас.

— Но я так не думаю.

— Почему?

— Мне трудно ответить на ваш вопрос. Будем считать, мне так подсказывает женская интуиция. И мне кажется, что вы ревнуете. Напрасно. Кстати, как продвигается ваш роман?

— Не очень.

— Отчего?

— Трудно сказать. Я надеялся, что с вами ко мне вернётся вдохновение, а вместо этого у меня появилось какое-то раздражение, возможно, на меня очень хорошо влияют все эти места наших свиданий. Представляю, как этот старик ждёт вас каждый день, стоя у окна своей палаты.

— Не знаю, как вас и утешить. У вас сложился какой-то неверный стереотип о музах. Но будь по-вашему. Выберите место для нашего последнего свидания там, где вы были по-настоящему счастливы. Только подумайте хорошенько и позвоните мне, — сказала муза и вернулась к старику.

Иннокентий Сергеевич отправился восвояси. Сначала он думал встретиться с музой в парке на мосту, где впервые признался в любви, потом решил назначить свидание в летнем кафе, где узнал о рождении первенца, потом...

Прошла неделя, месяц, год... Иннокентий Сергеевич так и не позвонил музе.

Хотя однажды, кажется, зимой, он увидел её на трамвайной остановке, но сделал вид, что не узнал.

ЕЛЕНА ЛУКАНКИНА В АСЕЕВСКОМ САДУ

Туманом жёлтая луна
подёрнута — как ладан
на небе жгут, но даль темна
Асеевского сада.

Вода встаёт на волосы,
фонтанов гнутся шеи.
Деревьев горы высоки,
и в них видны ущелья.

Туда — где камни и трава,
где собралась по звуку
вся тишина, и голова
пошла, пошла по кругу.

Тоскливо скрипнула щепка,
в груди кольнуло остро,
и то ли от того шипа
на небе вышли звёзды —

рассыпались, и ты один
в саду, в своей природе.
И сколько б ты ни приходил —
всё ближе час ухода.

Над головой сжимают круг
ветвей сухие пальцы.
Как осень страх приходит вдруг —
навек потеряется.

И прелея листва, как чай,
заварена в избытке —
кислит, и слышится: «Прощай!»
из хлопнувшей калитки.

В том старом саду никогда не была,
но видела я у ворот
траву, что густым камышом обвила
большое пустое ведро.

Как холод сковал эту мгlistую стынью,
как я надыхала туман,
и словно трещал
с каждым хрустом камин,
которого не было там.

Как в небе над садом желтела луна
в сплетённом из веток гнезде,
как мятое облако с веретена
тянулось навстречу звезде.

Как арфа играла сама по себе,
и кто-то ходил вслед за мной.
Я слышу ту песню — я пела тебе
про сад ледяной, ледяной.

Послышался забытый запах моря,
обманывая чувства и маня.
Песчаной косой спустилась штора
и вылила в беспамятстве меня
в шампанское со вкусом сладкой
соли.

Всё та же даль, тропическая ночь,
и лунный серп, и звёзды в синем поле
над головой, а я — морская дочь.
Волнует бриз открытый берег платья,
как лёгок человек, забыт и мал,
когда один качается на глади
в морских увеличениях зеркал.
Подходит край зыбучей, белой суши,
и море омывается у ног.
Очнёшься дома —
вспоминай и слушай
ракушку, где не кончилось оно.

ЕЛЕНА КОРУНОВА

Последний день зимы

I.

Дронов преподавал в университете и, несмотря на обособленный, немножко диковатый вид, он чем-то напоминал нахохлившуюся птицу, коллеги его уважали, а студенты любили. За глаза по-доброму называли Дрон.

Уже целый год он жил совершенно один, а до этого вдвоём с матерью. Дронов учился в начальной школе, когда умер отец, но особая связь между ними не прервалась. Порой, мысленно разговаривая с ним, ему чудилось, что старший Дронов рядом. Часто снился ему один сон: будто идут они с отцом по бескрайнему полю. После такого сна весь день Дронов был особенно умиротворённым.

Мать же скончалась недавно, не дожив до сорокалетия сына. С её уходом осиротел дом, в комнатах завелись сквозняки, а Дронов засиживался допоздна на кафедре, зарывшись в бумаги, книги и географические карты. Ещё мальчиком он увлёкся топонимикой, тем особым разделом языкознания, который изучает географические названия. Этому делу он целиком и посвятил жизнь.

Отец успел сделать-таки главное — посеял в душе сына интерес к науке, когда вместо детских сказок читал ему на ночь легенды о названиях городов. От него мальчик услышал предания о Ярославле Мудром и Ярославле, о Петре Первом и Богучаре, о древних племенах из дремучих лесов, давших название Брянску и Вологде. Правда и вымысел в этих рассказах хитро сплетались, странные слова будили любопытство, погружая в древний мир сказок. Любое название скрывало тайну, которую именно ему, маленькому Дронову, обязательно нужно было разгадать. Повзрослев, он не утратил прежней детской любознательности. Исследуя происхождение и смысл названий мест, Дронов становился магом, волшебником земноморья, познающим слова истинной речи.

Мать гордилась достижениями сына, преданностью науке, огорчалась только его одиночеством, потому порой тяжко вздыхала. А для Дронова и должность, и учёная степень были чем-то несущественным, сопутствующим главному занятию. Мысленно блуждая в увлекательном мире подлинных слов, он был вполне доволен уединением. Вот только с уходом матери почувствовал вдруг себя бесприютным среди промозглых улиц.

II.

В последний день зимы ветер пытался изломать тонкие берёзовые вет-

ви, без конца бросая их в высокое окно старинного университета.

— Зима кончилась, а хорошего снега мы и не увидели, — обернувшись на очередной стук в стекло, неровно протянула заведующая кафедрой русского языка.

При своей тучности и солидном возрасте женщина обладала голосом звонким и молодым, но выразительность в нём отсутствовала напрочь — тон, ритм, ударения сбивались в кучу и лишали любую фразу смысла. Дронов каждый раз недоумевал, как с такой сумбурной интонацией можно было стать профессором филологии.

— Вы правы, — поддакнул он и посмотрел на часы. До начала лекции оставалось десять минут, уходить бессмысленно, придётся и дальше терпеть её общество. Впрочем, не всё ли равно, подумал он.

Обычно во время большой перемены кафедра пустовала и Дронов мог спокойно погрузиться в чтение, но сегодня всё пошло не так. Невдомые силы мешали Дронову сосредоточиться на важной для него теме в статье журнала «Молодой учёный». В довершение распахнувшиеся створки узкой двери явили на свет профессора Ваганова. Бывший соратник Дронова уже с порога театрально зашумел:

— Друг мой, Илья! А у меня для тебя, можно сказать, приятнейшее известие! Вот, держи, — он стал рыться в истёртом портфеле с великим множеством пустых отделений.

Искомое никак не находилось. Наконец Ваганов замер, торжественно медленно извлёк на белый свет слегка измятый листочек и протянул другу. Дронов получил записку, где размашистым почерком были выведены какие-то пляшущие цифры и имя — Капитолина Никитична.

— О, не благодари меня, Илья! И не смей спрашивать подробности, слышишь. Всё вышло совершенно случайно, вот так. Пригласили меня вчера в музыкальный салон, а там, — Ваганов многозначительно поднял указательный палец и начал рассказывать увлекательную, как ему казалось, историю.

Из бесконечного потока слов Дронов уловил главное: благодаря случаю он может стать обладателем редкой книги учёного Веселовского об истории происхождения названий рек Южной Сибири. Нужно было только позвонить этой самой Капитолине.

Дронов вдруг засуетился. Нужно срочно звонить, нужно торопиться, думал он, — такая удача не будет ждать, вдруг эта Капитолина передумает отдавать книгу или бесценное сокровище перехватят, предложат большие деньги. Он покраснел от

волнения. В его воображении толпа почитателей трудов учёного-гидронимиста Веселовского уже осаждала квартиру несчастной старушки Капитолины, вырывая из её костлявых ручонков редкую книгу.

Теряя терпение, Дронов судорожно набирал номер. Ваганов с улыбкой благодетеля ожидал. Завкафедрой важно прошествовала к двери и произнесла в своей манере:

— Господа, не заставляйте студентов себя ждать!

Дронов даже не успел поморщиться от несуразной интонации, как в тот же момент трубка ответила, Дронов заискивающе проблеял:

— Капитолину Никитичну пригласите, пожалуйста.

— Я слушаю, — голос в контрасте с какофонией пожилой коллеги показался Дронову волшебной мелодией. Он приободрился и, тотчас выпросив адрес, заверил, что придёт строго в назначенное время.

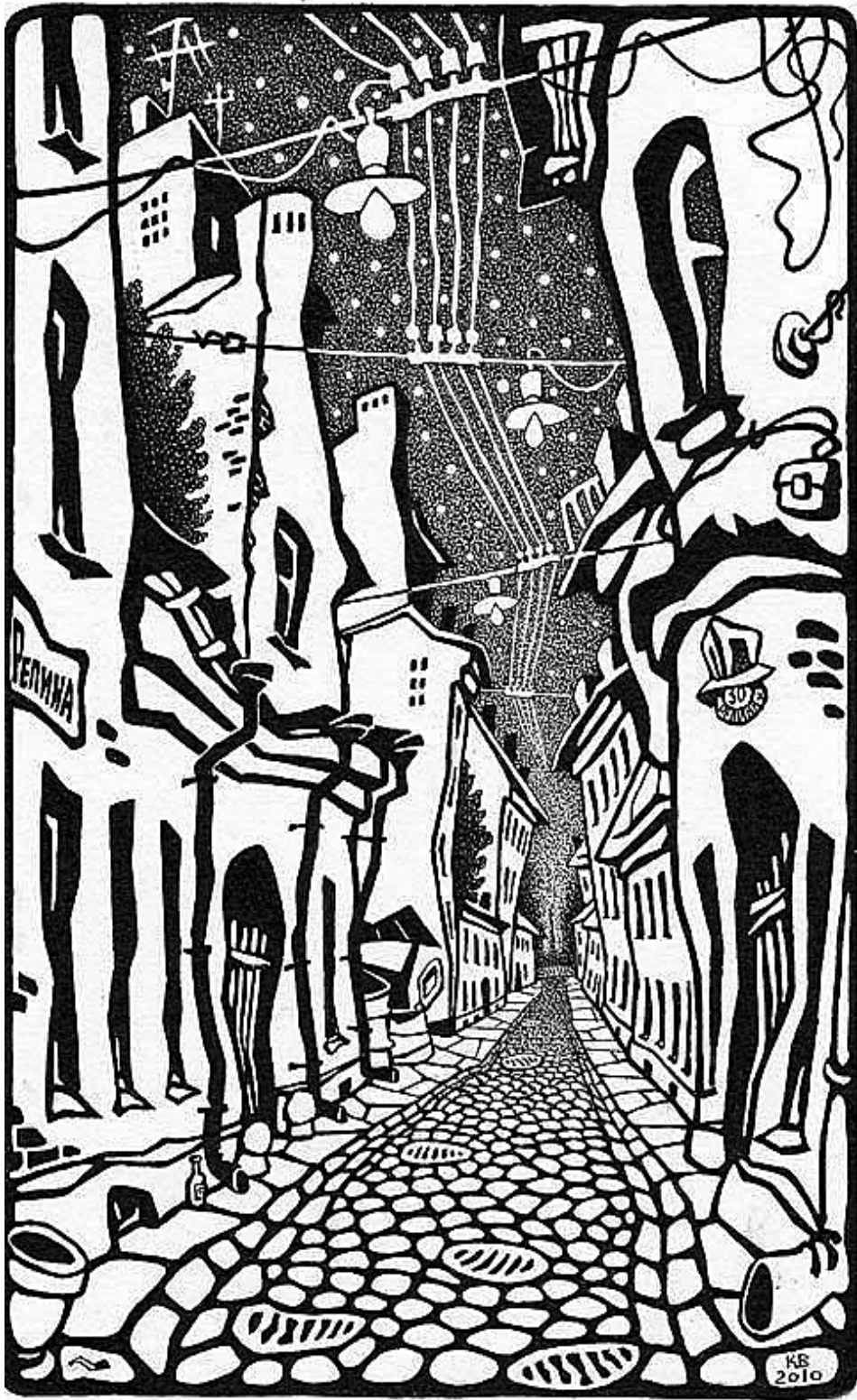
III.

Дронов тысячу раз слышал о лучшем друге отца, да и не только слышал. На фотографии за стеклом старорого серванта улыбались два парня, сидя в байдарке с высоко поднятыми вёслами. Это были отец и Илья Веселовский, оба тогда учились на географическом факультете и увлекались гидронимикой — историей происхождения названий рек. Илья был старше отца и уже публиковался в научных журналах.

Мать любила вспоминать об их совместной научной экспедиции в Южную Сибирь и ещё как отец, вернувшись из поездки, сделал ей предложение прямо на вокзале. Илья на правах старшего друга устроил будущим супругам студенческую свадьбу, а в качестве подарка пообещал свою первую книгу.

В следующую экспедицию, теперь уже в Восточную Сибирь, ровно через год Веселовский отправился один. Отец отказался — ждали первенца. Не смог он и проводить друга, вёз жену в роддом. Только вот из того научного похода Веселовский уже не вернулся, погиб, сплавляясь на порожище участка реки Хара-Мурын.

Друг отца был незаурядным учёным, это Дронов понял, работая над своей диссертацией. Единственная книга молодого исследователя Веселовского была издана малым тиражом, в центральной городской библиотеке сохранился всего один экземпляр. Дронов изучал эту редкость в читальном зале, восхищаясь смелостью научной мысли Ильи и жалея о его внезапно прерванной жизни.



Графика Владимира Колбасова.

По словам матери, отец в смерти друга почему-то винил себя, науку забросил, а после университета устроился географом в школу.

Всё это пронеслось в голове у Дронова, пока он, продираясь сквозь непогоду, не очутился, наконец, перед изящной резной дверью. Нужная квартира располагалась на третьем этаже старинного особняка с аркой и каменным фонтаном. Запах сырой штукатурки смешивался с ароматом домашней выпечки. Узорчатая плитка и широкая лестница парадного, витражное окно с жёлтыми вставками всех оттенков — всё говорило о веке ином. Перевея дух, он нажал на кнопку звонка.

Звонок совершенно не идёт к этой старинной двери, уместнее был бы колокольчик, подумал он машинально. Замок защёлкал, дверь распахнулась.

IV.

Плотный, лысый, коротенький старик в длинном плюшевом халате неторопливо, с любопытством разглядывал гостя.

— Что вам угодно?

— Вечер добрый, — сказал и зачем-то поклонился Дронов. — А я, собственно, к Капитолине Никитичне.

Дронов мысленно уже перенёсся в девятнадцатый век и ждал, что старик сейчас обратится к нему не иначе как «милостивый государь». Однако хозяин плюшевого халата посмотрел куда-то в сторону и крикнул:

— Капа, это к тебе!

После чего захлопнул входную дверь перед носом у гостя.

Дронов остался один на площадке и продолжал фантазировать. Сейчас выйдет горничная в белом переднике и проводит меня к барыне, — весело подумал он.

— Вы за книгой? Проходите же, — деловито кивнула из-за двери молодая женщина с тёмными, гладко прибранными волосами. Одета в глухое серое, но вместе с тем изящное платье, она быстро повела Дронова долгим коридором в просторный зал с тяжёлыми портьерами на окнах. Из обстановки там были только рояль с опущенной крышкой, пара стульев и стеллажи с книгами по двум стенам. Он огляделся, ища глазами заветную старушку Капитолину, но в комнате, кроме них, никого не было.

— Капитолина Никитична — это я, — прочитав растерянный взгляд посетителя, сказала хозяйка и подошла к одному из стеллажей, — а вот ваша книга.

— Вам она точно не нужна? —

спросил Дронов, жадно прижимая к себе драгоценное издание.

— Я пианистка, — она картинно сложила одну в другую изящные кисти рук и продолжала слегка надменно. — Свою библиотеку подарил мне дед, вы его видели, я с детства знаю каждую книгу. Представьте, именно эта, теперь уже ваша, меня не интересовала никогда.

— И напрасно, — вдруг возразил Дронов, почувствовав себя обязанным открыть истину. — Веселовский в своей работе говорит о превосходстве Иртыша над Обью, которую считают главной рекой Сибири. По его мнению, это историческая несправедливость: ведь и по длине, и по водности приток Оби её превосходит. Об Иртыше упоминается в давних китайских хрониках как о.., — он вдруг резко замолчал, мысленно отругав себя за многословие.

Капитолина вопросительно наклонила голову.

— Простите, вам неинтересно, я немного забылся.

— Отчего же, вы увлечённо рассказываете, я рада, что эта книга нашла своего поклонника.

— А у вас она откуда? — Дронову всё больше и больше нравились прямой, открытый взгляд Капитолины, её редкая манера изъясняться. Он был убеждён, что правильная речь и мелодичный голос для женщины важнее, чем красивая внешность. Но самое главное — ему нравилось её имя, таившее в себе величие знаменитого древнеримского холма.

— Книгу привёз дед из командировки на Байкал, был он на какой-то конференции врачей, — и Капитолина гордо закончила, — сам автор ему и подарил.

— Илья Веселовский?! — воскликнул Дронов и стал листать книгу, бормоча под нос. — А в каком году это было?

Капитолина терпеливо ждала, пока Дронов шевелил губами, читая дарственную надпись. За свою концертную карьеру она научилась сдерживать эмоции. Долговязый, простодушный Дронов располагал к себе, но не вписывался в привычный круг её знакомых. И ещё она не была готова к такому длительному визиту незнакомца, поэтому нервничала, не зная, как вести себя с ним. Вместе с тем ей не хотелось, чтобы он уходил.

— Знаете, а ведь в том году он погиб. Что же это? Значит, он зачем-то был на конференции, а потом пошёл на сплав по реке, — рассуждал вслух Дронов, в волнении почёсывая затылок. Казалось, он и не замечал строгости хозяйки, продолжая бережно листать страницы.

Капитолина прищурилась, словно что-то вспомнив, и торопливо вышла из комнаты. Через пару минут вернулась уже вместе с дедом. Старик важно воссел на английский стул с изогнутыми ножками. Вместо предисловия он долго тербил нос измятым платком, кашлял и вздыхал. Наконец, измучив слушателей, он начал, весьма довольный вниманием:

— Да, дети мои, то был печальный случай. Я был ещё достаточно молод, — в этом месте старик лукаво хмык-

нул, — то есть жаждал приключений. А там же Байкал! Дикая природа! Красоты!

Он почмокал губами и продолжал:

— С этим Ильёй я случайно оказался в одной гостинице Иркутска, он подписал мне свою книгу, потому что проигрался в шахматы. В хлам проигрался. В шахматах мне равных нет! Вот она знает, — указал он на Капитолину. — Илья ещё пошутил: мол, стану великим учёным, книжка будет бесценна. Больше мы не виделись.

Дронов слушал, не шевелясь, ловил каждое слово.

— Кажется, на следующий день я узнал от коллег-врачей, что этот самый Илья трагически погиб.

Он громко высморкался, от чего вдруг сморщился и продолжил:

— Как потом выяснилось, нелепый случай. Бедный парень! Засунул нож за пояс, а когда помогал вытаскивать байдарку, разрезал бедренную артерию. Ничего не смогли сделать, да и не успели бы, — дед заохал, — такой молодой был, жить да жить.

Замолчав, он замер, уставившись в одну точку. Все были подавлены рассказом старика, только большой маятник стальных часов продолжал движение. Дронов ещё раз перечитал дарственную надпись и вдруг просиял.

— Видите, здесь написано: «Лучшему другу» и дата... А ниже ещё одна надпись: «На память от побеждённого» и другая дата, — он быстрым взглядом обвёл всех и торжественно объявил: — Эту книгу Веселовский хотел отдать моему отцу на вокзале в тот день, ну, когда я родился. А отдать не смог, потому и увёз с собой в экспедицию.

Дронов крепко, как ребёнка, прижимал книгу, думая об отце, Веселовском, Капитолине. Он вдруг почувствовал, что улыбается, ему стало просто и хорошо, как во сне, когда рука отца почти касалась его плеча. Ему показалось всё здесь привычным и знакомым, словно он давно знал эту тонкую женщину, её деда, словно бы вернулся домой после долгого путешествия.

— А хотите чаю? — нарушила тишину Капитолина.

— С удовольствием, — быстро ответил Дронов.

— Илья, я жду вас завтра, приходите непременно, — строго и одновременно ласково сказала Капитолина, закрывая за Дроновым дверь. Чаепитие с сушками и разговорами затянулось допоздна.

Радостно отбивая на каждой ступеньке лестничного марша волшебное «ка-пи-то-ли-на-ни-ки-тич-на», Дронов сбежал к широко распахнутой парадной двери и очутился в белой сказке. Медленно падающий снег уже завалил двор, придав ему новые фантастические очертания. Было тихо и тепло.

— Оттепель, — прошептал Дронов и запрокинул голову. И ему показалось, что это он сам поднимается вверх, преодолевая застывшую белую взвесь.



Размышляю о происходящем на театральных подмостках, и возникают в памяти строки Осипа Мандельштама:

Театр Расина.
Мощная завеса
нас отделяет
от другого мира,
глубокими морщинами
волнуя,
меж ним и нами
занавес лежит.

Театр Расина... Но также и театр Шекспира, Гоголя, Островского, Чехова. Другой мир, во многом не похожий на наш и одновременно такой похожий. Меня, признаюсь, до сих пор волнует вид театрального занавеса с его «глубокими морщинами». Да и как можно любить театр, не испытав этого чувства? Наверно, я старомоден, поскольку иду на спектакль не для того, чтобы услышать со сцены уличные крики и матерщину. Иду прикоснуться к искусству, а мне предлагают изувеченную классику, называя сие безобразие новаторским прочтением.

I

Над кинематографической гамлетяной возвышается фильм-шедевр Григория Козинцева с Иннокентием Смоктуновским в роли принца датского. До него был известен послевоенный фильм англичан с Лоуренсом Оливье в главной роли. Он же выступил и в качестве режиссёра. Игра его в фильме совершенна, как античная статуя. Что до режиссуры, то это чисто театральная, лишённая креатива и потому малоинтересная постановка. В четвёртой сцене первого акта Гамлет Оливье говорит о погоде: «А на ветру как щиплет! Ну и холод!» Хотя в кадре — ни ветерка. Откуда же ему взяться, если снимали в павильоне?

А что у Козинцева? Развевающиеся от ветра плащи Гамлета и его спутников в ночи. Почувствовав неладное и панически бегущие из конюшен лошади. И после возгласа Горацио: «Смотрите, принц, вот он!» — мощный, пронизывающий до мурашек аккорд. Музыка Шостаковича... Не будь её, крайне важная для дальнейшего развития трагедии сцена была бы гораздо менее захватывающей и напряжённой. В экранизациях Оливье и Козинцева меня заинтересовала одна деталь. После обращённых к призраку слов «Иди, я за тобой» Гамлет Оливье

берёт меч рукояткой вверх, вертикально. Получается крест, которым он осеняет себя, что называется, на всякий случай. Гамлет же Смоктуновского, напротив, держит меч лезвием вперед. Он доверяет духу покойного отца, не опасаясь дьявольских происков.

II

Бродский, известный своим англофильством, считал, что в роли Гамлета Оливье был лучше Смоктуновского. Я так не думаю. Перефразируя товарища Сталина, говорю: оба лучше. Оливье восхищает пластикой движения, мастерством сценической речи, контрастами настроения от меланхолии до взрывного subito forte. У Смоктуновского оно приобретает психоделический характер, доходя до fortissimo. Его Гамлет в эпизодах мнимого сумасшествия незабываем. И, конечно, как не вспомнить тут сцену с флейтой, где принц показывает своим так называемым друзьям, чего они стоят, их подлинное лицо. Этой сцены нет в английском фильме, как нет в нём темы «Дания — тюрьма» и Гильденстерна с Розенкранцем. Оливье-режиссёр заметно сузил масштаб и проблематику шекспировской трагедии. Видимо, таков был его замысел, вполне камерный.

III

Для Козинцева главной темой шекспировской трагедии является противостояние личности и государства. Безусловно, на фильм повлияли события общественно-политической жизни, связанные с развенчанием культа личности. «Какая-то в державе Датской гниль!» Этот возглас Марцелла отсутствует в английской киноверсии «Гамлета», зато сохранён в нашей и хорошо понимался пережившими сталинщину. Внимательно просмотрев фильм, можно заметить отсылки к реалиям сталинской эпохи: бюсты Клавдия, установленные в коридорах замка, топтуны и соглядатаи, то и

АЛЕКСАНДР ПАУТКИН

Экспромты

дело вынырывающие из тёмных углов. Помните, как одного из них принц схватил за нос и так протащил до ближайшей двери? И ещё отметил бы одну мизансцену из второй серии, когда Гамлет с факелом в руке появляется перед старцами в судейских мантиях и восседающим в центре королём. Клавдий в исполнении М. Названова — не «шут на троне», а вальяжный, не лишённый обаяния злодей. Благородный пафос сцены с факелом, её символичность, вкус, с каким она была задумана и воплощена, как, впрочем, и другие эпизоды фильма, — всё это остаётся со мной в ряду сильнейших кино впечатлений.

* * *

Серебренников, Черняков, Бархатов, Богомолов — кто они, эти молодчики? Моральные уроды или талантливые режиссёры, которым достаётся «рукоплесканий жатва» мировых столиц? По их продукту, как сейчас выражаются, видно, что сгондобили его (другого слова не подберу) глубоко растленные недоучки и тусовщики, питающие к русской культуре чувство презрения, как к чему-то третьесортному и дремучему, нуждающемуся в радикальной перделке. В постановке Чернякова Татьяна в «Онегине» пела, стоя на столе. Мне кажется, её лучше было бы посадить на унитаз (золотой, конечно!). Почему нет? Ну, а если серьёзно, эта четвёрка и её последыши действуют по отношению к русской культуре как откровенные вандалы.

С режиссёрским искусством их гнусная отсебятина ничего общего не имеет. Перед нами обычные мошенники, промышляющие на классике и связанные с властью имущими родственными, либо деловыми узами, что позволяет им безнаказанно издеваться над нашими святынями.

* * *

Чем вам, господа журналисты, не нравится пафос? Чуете в нём опасность для своего реноме? Бойтесь, что вас заподозрят в симпатиях к стилистике советских времён? Некоторые (на «Эхе Москвы») уже извиняются за пафос, если чувствуют, или им показалось, что с болтовни о том о сём они съехали на серьёзные темы и, соответственно, поменяли тон разговора. Прошу заметить: пафос никому не делся, изжить его не удастся. Бетховен, Лист, Вагнер, Шостакович, голос Левитана, песни военных лет остаются.

Пушкин, Лермонтов, Маяковский и даже Евтушенко, остаются.

И, поверьте, — скоро, быстрее, чем вы думаете, Пафос к вам придёт и вас перенастроит.

* * *

В эссе «К вопросу о Смердякове» Б. Парамонов решил заступиться за однозлого героя «Братьев Карамазовых» Достоевского. Он делает это, как всегда, увлекательно и остроумно, с привлечением психоанализа. Считает, что напрасно мы нападаем на Смердякова, человека, обиженного судьбой. Старик Карамазов обзывал его «бульонщиком», а слуга Григорий — «во-

нучим лакеем», периодически избивая. Парамонов заостряет наше внимание на кулинарном мастерстве Смердякова. Да, тот действительно был прекрасным поваром. Но почему отсюда Парамоновым делается вывод о полезности его как социального типа?

Никто не собирается отвергать «бульоны и кулебяки в качестве лакейской и хамской субстанции». Презрение к тонкой субстанции национальной гордости — вот что отталкивает нас от Смердякова, мешает посочувствовать его судьбе. Хотя, прямо сказать, он никогда у меня не вызывал жалости. Скользящая личность или, как сказал о нём слуга Григорий, «банная слякоть». К тому же отцеубийца.

Представим фантастическую картину: немцы захватили Москву. Бывший «вонючий лакей» работает шеф-поваром в одном из ресторанов столицы. Там выпекают чудные кулебяки. По вечерам туда навещаются господа офицеры. Один из них попробовал смердяковскую кулебяку и разомлел от удовольствия: «Кто готовит такой вкусный блюдо? Позвать тот человек! Хочу рецепт». Далее фриц рассыпается в похвалах и получает желаемое. А затем, встав из-за стола, требует от шеф-повара и всех официантов в унисон с ним прокричать «хайль Гитлер!» Как поведёт себя Смердяков? Будьте уверены, исполнит приказ без всяких внутренних затруднений. Он же ненавидит Россию. Умная нация наконец-то покорила глупую, и он свидетель исторической справедливости. Таких ресторанами не успокоить. Хороша кулебяка. Смердяков — бяка.

* * *

«Войну и мир» Толстого я в своё время не просто прочёл — пропустил через себя. Роман «Анна Каренина» затронул меня лишь контрапунктом Лёвина — Кити. Владимир Набоков, как известно, ценил эту книгу, отдавая ей предпочтение перед «Войной и миром». Мне сюжет и проблематика «Анны Карениной», мягко говоря, не близки. Ни к одному из её героев не испытываю симпатий. Почему? Да потому что, в отличие от «Войны и мира», в этом романе действуют преимущественно деловые и деловитые люди, озабоченные личным интересом: бытом, модой, комфортом, финансами, то есть всем материальным, земным, слишком земным. Стива Облонский, Долли, Бетси Тверская, Каренин и другие — как они заурядны! Вронский — это слегка помумневший Анатолий Курагин, человек, не склонный к размышлениям о вечном. Такова, в сущности, и Анна. Её чувства к Вронскому скорее, жажда секса, маскирующаяся под любовь, чем сама любовь. Теплохладный Лёвин, прожектёрством напоминающий гоголевского Костанжого, пожалуй, единственный, в ком присутствуют творческие задатки. Перечитывая «Войну и мир», чувствуешь: вот она — Россия, устремлённая к своему звёздному часу. В романе «Анна Каренина» он предстаёт торжеством суперхищного капитализма, вновь терзающего страну на очередном витке её истории.

ВЕСНА 85-ГО

Последний снег сникал
И, нехотя сдаваясь,
В борьбе с весною пал,
В водичу превращаясь.

Разведрились деньки,
Замлели переулки.
Ручьи, как новички,
Журчат свои бирюльки.

И радо ослепить
Нас утреннее солнце,
Пришла пора любить
И распахнуть оконце.

Задорный ток весны
Потряхивает славно
Красоток записных,
Студентов, ветеранов.

Одних он пробудил,
Разбалтывает многих.
Грязь прямо-таки красочна
На плачущей дороге.

* * *

Москва — симфония театров,
Церквей и либеральных сект,
Чей эталон — страна Синатры,
Где жизнь — игра, за сетом сет.

Как я любил тебя, столица
Другой, исчезнувшей страны,
Людей приветливые лица
На звонком празднике весны!

МИРЕЙ МАТЬЕ

Ты оттуда,
Из шестидесятых
нетравмированных времён,
Девочка со стрижкой
a la page,
Гальское чудо в обличье
вальса.
Слушал бы и слушал
твой голос,
В каждом изгибе мелодии
узнавая
Ту или иную,
влюблённости грань.

* * *

Не пахнет нынче
ни один продукт —
Ни хлеб, ни сыр,
ни молоко, ни масло.
Не пахнет даже
денежная масса,
Поскольку в цифру
переведена.
И только женщина одна
Как прежде, пахнет морем.

Александр Пауткин.



ТАТЬЯНА РОДИОНОВА родилась в Тамбове, училась в МАОУ Лицее № 21. В этом году переходит на второй курс педагогического института ТГУ им. Г. Р. Державина.

ЗАСТОЙ

Я ничего уже не помню наизусть.
Зима мне вырвала
из головы всю память,
Оставив смешанную
с дремой мыслей мякоть
И предвесенним
сном подёрнутую грусть.

Я так давно стихотворений не писала
И в них давно
не погружалась с головой.
Самой себя для них мне было
слишком мало,
И то в упрёк бросала я себе самой.

Слова уже не собирались так,
как прежде.
В какой момент оборвалась
вдруг эта нить?
Когда исчезла к строкам
ласковая нежность
И перестала я, как автор, их ценить?

Всё не моё, всё на кого-то там похоже.
Всё повторяется на свете много раз.
Запомнят тех, кто новое
придумать сможет, —
На них падёт вниманье
чьих-то светлых глаз.

А я останусь. Я забудусь. И исчезну.
Всё превратится в пыль —
блокноты и тетради,
И только изредка с иронией любезной
Те, кто читал,
меня припомнят смеха ради.

Но всё же я люблю —
как строчка за строкою
Скользит чернилами ровнее и смелей.
Писать не стану —
перестану быть собою
И потеряюсь в бесконечном ходе дней.

Я буду ждать, когда во мне
найдутся снова

Идей неловкие и первые штрихи,
Я буду ждать то первое, родное слово,
С какого новые напишутся стихи.

ТОСКА

Сгорел в розетке старый телевизор,
Утихла городская суета.
Ко мне на дно стучится кто-то снизу,
Пока квартира доверху пуста.

Я дверь рукой тихонько приоткрою,
Цепочку тонким звоном натяну
И в пасть тоске взгляну,
готовясь к вою,
Но встретив лишь глухую тишину.

Так выглядит она, сестра родная,
Простёршаяся бездной подо мной,
Всегда любую здравость пресекая
И не давая думать головой.

Её не вырвешь с отмершею кожей,
Не выгонишь её туман из глаз.
Порой мне остро кажется, что, может,
Становимся мы ближе каждый раз.

Она не создаёт в душе волнения,
А вакуумом стелется внутри,
Мне давши на покой немного времени,
Со стен все оборвав календари,

Меня сокрыв в грудной
тени под рёбрами
И сжав ладони холодом зимы...

С её уходом мысли были собраны
И вылечены все больные сны.

Сменился на балкон мой телевизор,
И новой суеты не испугает вид.
На город глядя, утренний и сизый,
Прощаюсь я с тоской ночной навзрыд.

ПРИТАМБОВЬЕ

Притамбовье пылало
Запахами по весне.
Этого мне было мало,
И дышалось всё жадней.

С каждой новою минутой,
С каждым шагом вдоль берёз
Зацветало в рёбрах, будто
Я сама — скопление грёз.

Я сама — росток тюльпана,
Почки новые на ветках,
Терпкость снов весенних, пряных
В обрамленье силуэта.

Чувствую я вновь, мечтаю
Оказаться среди посадков
В Притамбовье где-то с краю
Там, где воздух свежий, сладкий,

Там, где чернозём застывший,
Оклемавшись от мороза,
Запахами лета дышит,
В голове рождая прозу.

Там, где тихие озёра
Глядью спяют за лесами,
И где с речки буду скоро
Возвращаться вечерами.

Притамбовье. Детства дом.
Где бы я ни оказалась,
Отложивши телефон,
Оборвав все связи малость,

Я вернусь. И снова звон,
По-весеннему лучистый,
Деревенским вспыхнет свистом
И потухнет в детский сон.

ГДЕ МЫ?
(К ПОСТУПЛЕНИЮ)

Написано под впечатлением от строк
стихотворения Марины Кудимовой.

Текли разрозненные дали
В поездовом глухом окне.
О прошлом в скуке и печали
Они напоминали мне,

В пылу надсельского свиста
Мне трубы голову сжимали.
Где мы?
В сплетениях ветвистых
Километровых магистралей.

Молчали скупой остановки,
И шёл, пустуя, циферблат.
Автобус, полный и неловкий,
Остановился невпопад,

В стекле дождя, стуча, ходили,
Мне заслоняя неба высь.
Где мы?
В плену дорожной пыли,
Откуда сами начались.

В знакомом с ранних лет подъезде
Роняли краску потолки,
Меня встречали по приезде
Сменённые в двери замки,

И у качелей детства старых
Несмазанная цепь скрипела.
Где мы?
В разбитых тротуарах,
Чернеющих осиротело.

На неприветливую осень
Смотря в холодное окно,
Мы никогда себя не спросим,
Как если б было всё равно,
Не оживём остывшей грудью,
О том не поразмыслим вскользь, —
Где мы?
И где мы завтра будем?
Куда направит жизни ось?

Весь этот город — молчаливый,
Готовый проглотить за так;
Я, оглянувшись боязливо,
Ускоряю свой неровный шаг

И вслед за тёплой прохладой
Куда глаза глядят пойдю.
Мне, может, где-то будут рады;
Там нечто большее найду,

И там я высмотрю приметы
Чего-то дорогого мне...
Там — это где?
Но нет ответа
В проулочном бездомном сне.

ВЛАДИМИР ТОЛМАЧЁВ

Как дед в школу ходил

На краю глухой деревни
Жил старик в избушке древней.
Не один, а со старухой.
Жизнь была сплошной прорухой!

Жили бедно, ели скудно,
В общем...
Жить им было трудно.
Вроде Бога не гневляли,
А детей вот не родили.

Даже некому помочь.
Им бы сына или дочь...
Так и прожили одни —
Ни детей и ни родни!

Как-то летнею порой
Возвращался дед домой.
В лес ходил он спозаранку,
Хворосту принес вязанку.

Впереди грядёт зима,
А зима вам — не кума!
То мороз придёт трескучий,
То другой поганый случай.

Или снегом занесёт
От крыльца и до ворот.
Так с утра и до обеда —
Расписание у деда:

Принести охапку дров
И букет лесных цветов!
Тяжела домой дорога,
Бабке он кричит с порога:

«Что сегодня на обед?
Рыба или виноградет?»
Отвечает бабка деду:
«Даже хлеба нет к обеду,

Думала, блинцов спеку —
Мыши съели всю муку.
Заходи-ка в дом скорей,
Да садись, чайку попей».

Дед с досады разрыдался,
Вешаться уже собрался,
(Стал постылым белый свет),
А верёвки в доме нет!

Он уселся на крыльцо,
Всё в слезах его лицо,
Сердце колет и горит.
Тут старуха говорит:

«Так у нас дела сложились,
Потому что не учились.
Кто немного хоть учился,
Тот в начальники пробился.

И неплохо ведь живёт.
Потихонечку крадёт...
Надобно тебе учиться,
Глянь, авось и пригодится».

Отвечал со страхом дед:
«У тебя, старуха, бред!
Вот что значит голодуха —
Тронулась умом старуха!

Ты пойми, моя голуба,
У меня всего три зуба.
Ну какой я ученик?
Не детё я, а старик!»



Художник Леонид Баранов.

Бабка же твердит ему:
«У соседа в долг возьму.
Азбуку куплю, дневник.
Будешь лучший ученик!»

Дед тихонечко умолк,
«Спорить с бабой — что за толк?
Спорить — лишь себе во вред» —
Мудро рассуждает дед.

Лето шло уже на убыль...
Дал сосед старухе рубль.
Дал с условием, что ей
Возвращать-то — пять рублей!

Делать нечего... с рублем
Та пошла в торговый дом.
Ранец выбрала, тетрадку,
Азбуку, в неё закладку,

Перья, ручку, промокашку,
Ластик, белую рубашку,
Карандаш и две линейки.
В девяносто три копейки

Ей покупка обошлась.
Бабка к деду подалась.
«Вот проводим третий Спас.
И пойдёшь ты в первый класс!»

Время скоро пролетело...
Дед собрался в школу смело
И пришёл он на урок,
Не опаздывая. В срок!

В класс вошёл. Увидел карту.
Сел за дальнюю он парту,
Чтобы дети не смущались
И над ним не потешались.

Первоклашки появились,
Деду очень удивились:
«Как же так могло случиться,
Что старик пришёл учиться?»

По звонку вошёл учитель —
Мудрый школьный просветитель.

Поздоровался, достал
Классный новенький журнал.

Всех по списку зачитал,
Тут и деда увидал...
Старику он удивился:
«Дедушка, ты заблудился?»

«Заблудиться я не мог,
А пришёл я на урок.
Ты пойми, моя душа,
Я ж не знаю ни шиша.

Научи меня читать,
А ещё хоть чуть писать.
Буду о тебе молиться,
Разреши мне поучиться!»

Тут слезу пустил наш дед,
Ждёт учителя ответ.
Да... Вот это незадача!
Дед стоит и горько плачет!

«Что же делать мне с тобой?
Может, ты пойдёшь домой?»
Ещё пуще дед взмолился:
«Я ж ни разу не учился.

Мне ведь скоро помирать,
Помоги учёным стать!
Правду кажут или врут —
Там учёных не берут!»

И сказал учитель деду:
«Одержал ты, дед, победу!
Да... сумел ты рассмешить!
Буду я тебя учить!»

Ухмыльнулся дед тайком —
Стал ведь он учеником!
Успокоившись чуток,
Жадно слушал он урок.

Ох и сложная ведь штука
Эта школьная наука!
Так запомнить всё хотел,
Аж краснел и лоб потел.

Наконец звонок пропел —
Всем домой идти велел.
Дед неспешно собирался,
Аккуратным быть старался.

И знакомою тропой
Он пошёл к себе домой.
А вокруг-то — благодать:
Птички стали щебетать,

Колокольный перезвон
Нежно плыл со всех сторон.
Осень золотой листвою
Выстилала путь домой.

Незатейлив путь и прост...
Вот уж показался мост.

Хоть и старенький мосток,
От него большой был прок.

Ведь по мосту путь короче
Через речку, между прочим.
Перед мостом дед споткнулся
И нечаянно нагнулся.

Видит... перед ним мощна!
Да к тому же так мощна!
Развязал кошель старик —
Так и обмер, так и сник!

Не поверил дед глазам,
Срочно надо к образам!
Под собой, не чуя ног,
Дед бежал, как только мог.

Сразу стал в избе молиться.
(Да такому — не присниться!)
Вот мощну открыл старик...
Кинулась тут бабка в крик:

«Где украл? Кого ограбил?
Ты всю жизнь мне испохабил!
Плачет по тебе тюрьма,
Только золота здесь тьма!

Денег — и не сосчитать,
Камешков десятков пять!
Признавайся, что молчишь?
Бог простит, того — глядишь».

Тут старик во всём признался,
Что у моста спотыкался,
Что нашёл он кошелек
И помчался со всех ног.

Как представила старуха,
Что закончится проруха,
Сразу так повеселела,
Что как будто захмелела!

И пустилась тут же в пляс.
Дед находкою потряс!
А закончивши плясать,
Стала баба рассуждать:

«Видишь, смог ты убедиться,
Что не зря пошёл учиться.
В школу один раз пошёл —
Тут же кошелек нашёл.

Больше нечего ходить,
Дома дел — не своротить!

Надо новую одёжку
Прикупать нам понемножку,

Разных круп купить в чулан
И картошки — вот мой план.
Разных там ещё колбас.
В общем, на зиму припас.

Да соседу долг отдать,
Что б он сдох, рублей аж пять!
Новый дом потом купить!
Станем мы, как люди, жить!»

День прошёл, за ним другой...
Деду раннею порой
В лес не хочется ходить —
Может он дрова купить,

Может маслица в лампадку.
Стала жизнь дорогой гладкой!
Всё подряд давай скупать,
Им на зиму наплевать!

Так и стали поживать,
Им теперь переживать
Ни о чём совсем не надо,
Вот награда так награда!

Ранним утром как-то раз
В их деревню тарантас
Въехал, тройкой запряжён.
Барин в нём, весь наряжён,

Молодой, красивый, статный.
И костюм на нём затратный!
Вдруг покинул тарантас,
По домам пошёл тот час.

Как прошёл пешком деревню,
Стал искать уже харчевню,
Вдруг увидел развалюху
И ворчащую старуху.

«Надо в этот дом зайти,
Всё равно мне по пути». —
В дом войти он попросился,
Образам перекрестился,

Стал вопросы задавать.
Деду надо отвечать.
«Ты скажи мне, ради Бога,
Вашей ехал я дорогой

Дней тому так двадцать пять.
И случилось потерять
Мне большущий кошелек.
Ты найти его не мог?»

Дед к обману не привык,
Выложил всё напрямик:
«Находил я кошелек,
Может быть, и твой, сынок».

«А давно ли было это,
Дед, скажи мне по секрету».
«Кошелек я находил
В школу вот когда ходил».

Барин головой поник.
«Бог с тобой, ты что, старик?
В школе ты когда учился,
Я ещё и не родился!»

Тут же деду поклонился,
Выйти вон поторопился,
Быстро сел он в тарантас
И умчался в тот же час.

Бросился за ним наш дед,
А его простыл и след...
Понял дед, судьба простила.
Значит в правде только сила!

О себе: «Владимир Толма-
чёв родился в Сталинграде, рос
в Сталинграде, затем в Волго-
граде. Это мой родной и люби-
мый город. Закончил Воро-
шиловградское высшее военное
авиационное училище штурма-
нов им. Пролетариата Донбасса
(1975 г.). Майор в отставке. В
прошлом — штурман морской
авиации. Одна из моих люби-
мых тем песен и стихов — ка-
зачество. У меня взрослые дети
— сын и дочь. Трое внуков».